

С.Е. ЛИОН

## РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

### ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Мценская пересыльная тюрьма. Красноярский бунт. От Иркутска до Якутска .....	2
2. От Якутска до Верхоянска .....	16
3. Самый холодный пункт земного шара .....	28
4. Первый побег .....	40
5. Американцы и план морского побега .....	50

### **I. Мценская пересыльная тюрьма. Красноярский «бунт». От Иркутска до Якутска<sup>1</sup>**

Мы прибыли на ст. Мценск, Орловской губернии; здесь нас ждала целая вереница извозчичьих экипажей, в которые нас усадили по одному, с двумя городовыми на каждого, и повезли... в Мценскую пересыльную тюрьму, только-что вновь выстроенную или переделанную специально для политических.

В этой тюрьме мы пользовались, так сказать, большой свободой: в камеры нас запирали только после вечерней поверки, а весь день мы свободно гуляли по всему нашему коридору и свободно заходили друг к другу в камеры. Прогулки по тюремному двору совершались совместными группами и время для них было определено довольно значительное, — помнится, не менее часу, если не больше; словом, Мценская тюрьма казалась мне после Одесской скорее чем-то вроде провинциальной гостиницы.

---

<sup>1</sup> Представляет собой выпуск II Воспоминаний С.Е. Лиона. Вып. I. От пропаганды к террору. След. вып. III Морской побег.

В каждом «номере» расположилось по несколько постояльцев; вскоре туда прибыли и наши одесские каторжане: Попко, Фомичев, Медведев (Фомин). В одной из камер, где находился, между прочим, и я, шли нескончаемые беседы и споры на разные общественные и даже философские темы, — о причинах неудачи хождения в народ, о Чигиринском деле<sup>1</sup>, о целесообразности политического террора, о способах поднять народное восстание, о назначении человека, о цели жизни и т. п. Остряки как-то наклеили на дверях нашей камеры объявление с надписью вроде того, что в этой камере рассуждают «о значении смерти в жизни человеческой»... Словом, в Мценской тюрьме время шло незаметно, в дружеских беседах и спорах; жизнь, так сказать, «кипела ключом», — по сравнению, конечно, с Одесской тюрьмой.

В конце августа нас отправили в Москву в Бутырскую пересыльную тюрьму, где мы встретились с другой партией политических, также ссылаемых в Восточную Сибирь, все в административном порядке, человек около 50, в том числе много одесситов. В числе этой партии был, между прочим, земский врач из Борзенского уезда, Черниговской губернии, Яков Моисеевич Белый, с которым я впервые здесь познакомился и с которым нас судьба в лице иркутского генерал-губернатора связала впоследствии на долгие годы, так как мы оба очутились в конце концов в Верхоянске. Судьба доктора Белого довольно трагична, хотя по тому времени проста и обыкновенна, и именно в

---

<sup>1</sup> «Чигиринский бунт», или чигиринское дело, представляет интереснейшую в своём роде попытку вызвать крестьянское восстание, якобы от царского имени, пользуясь тем, что после половинчатой крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. авторитет царя был среди крестьян ещё довольно силен. Особенно на юге России крестьяне мечтали, что довершение крестьянской реформы — «передел земли» — будет произведён царским указом.

В Чигиринском уезде Киевской губернии (1876-77 г.г.) шла сильнейшая борьба между более зажиточными крестьянами, поддерживаемыми начальством и стоявшими за подворное землевладение, и бедняками, которые стояли за передел земли по душам (т.н. община). Между прочим, среди последних шли упорнейшие слухи, что царь целиком на их стороне, но чиновники всеми силами противятся ему в проведении этой реформы. Этим воспользовались некоторые революционеры (Дебагорий-Мокриевич, Дейч) и главным обр. Яков Стефанович; был изготовлен ложный указ, якобы от царя, с приказом крестьянам соединиться в боевые дружины и восстать против попов, помещиков, чиновников и т.д. В это дело было втянуто около 900 крестьян, но, за недостатком оружия и благодаря измене, дело было разгромлено и погибло. Более подробно можно прочесть в книге Дебагория-Мокриевича «Воспоминания». — прим. ред.

своей простоте-то и трагична. Он был очень добрый, мягкий и симпатичный человек, по убеждениям либерал — далёкий от всякого социализма и революции, и прожил бы спокойно свою жизнь либерального земского врача в деревенской глуши, если бы не выстрел Соловьёва<sup>1</sup>, за которым последовали генерал-губернаторства. Они взяли под сильное подозрение всех либералов и жестоко расправились со многими из них; только в мае были учреждены эти генерал-губернаторства с неограниченными, диктаторскими полномочиями, а уже 9 июня, по распоряжению Харьковского генерал-губернатора, Белый был внезапно арестован на месте своей службы. Ему даже не позволили зайти домой, не сказали почему и на каком основании он арестован, посадили в вагон и увезли, упорно скрывая, куда и для чего его везут, привезли в Москву, оттуда в Тверь, где губернатор, наконец, объявил ему, что его отправляют в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму для следования в Восточную Сибирь. Ему было 32 года. Жена его в это время была в последнем периоде беременности и поэтому, при всем своём желании, не могла сейчас же последовать за ним в ссылку. Но как только она оправилась от родов, она исходатайствовала разрешение от министра внутренних дел следовать за мужем по этапу (своих средств у неё не было).

Объявили ей, что муж её ссылается в г. Верхоленск, Иркутской губернии.

И вот, оставивши новорождённого ребёнка на попечение родных, она самоотверженно подвергает себя всем тяготам и мучениям этапного странствования по пересыльным тюрьмам и этапам, кишащим насекомыми и заражённым разными тифами и болезнями, часто пешком, в слякоть, дождь и трескучие морозы. Через несколько месяцев такого мучительного пути и ужаснейших мытарств она добралась, наконец, до Иркутска и

---

<sup>1</sup> А. Соловьёв, член партии «Земли и Воли», — произвёл 2 апреля 1879 г. покушение на царя Александра II. Соловьёв 5 раз выстрелил в прогуливавшегося царя, но неудачно, — царь не был даже ранен. После покушения Соловьёва вся территория России была поделена на 6 генерал-губернаторств, последним были предоставлены чрезвычайные полномочия, чем они и воспользовались, доводя реакцию и полицейщину до самых жестоких и невыносимых пределов. — *прим. ред.*

здесь, считая себя почти у цели своего путешествия, она с ужасом узнает, что муж её попал не в Верхоленск, Иркутской губернии, а в Верхоянск, Якутской области, за полярным кругом, куда надо ехать ещё 5 тысяч вёрст, ещё несколько месяцев. Этой ужасной перспективы не выдержала её и без того потрясённая и измученная душа, — молодая женщина сошла с ума и через несколько месяцев умерла в Иркутской пересыльной тюрьме. Джордж Кеннан, в своей замечательной книге «Сибирь», наделавшей в своё время много шума на весь цивилизованный мир, рассказав об этой трагической истории, прибавляет: «Я ограничился беглым очерком этой ужасной трагедии; но если бы читатель мог слышать эту историю так, как я со слов ссыльных, которые путешествовали вместе с г-жой Белой, видели, как угасали последние ещё вспыхивавшие искры её сознания, и затем ухаживали за ней, — он не удивился бы, что административная ссылка создаёт террористов. Он удивился бы, что весь народ не обратился в террористов»<sup>1</sup>... Но возвращусь к своему повествованию. Через несколько дней нас отправили дальше, в Нижний Новгород, особым поездом, состоявшим из нескольких вагонов, под конвоем специального отряда из 25 жандармов под начальством жандармского майора Кузьмина, которому было поручено сопровождать нас до самого Красноярска, — командировка, несомненно, для него не только почётная, но и очень выгодная в денежном отношении. Из Нижнего Новгорода нас повезли уже водою, по Волге и Каме, на специально-приспособленной арестантской барже<sup>2</sup>, везомой на буксире пассажирским пароходом. Эта баржа представляла собою настоящую плавучую тюрьму, так как она была обнесена вокруг проволоочной решёткой и везде были расставлены часовые; кроме нас, на барже было несколько сот уголовных, из которых многие с жёнами и детьми. Хотя большую часть дня нас держали внизу в каютах, но

---

<sup>1</sup> Дж. Кеннан. «Сибирь», т. I, стр. 108-109.

<sup>2</sup> Очень ценный и правдивый материал относительно пребывания в Вышневолоцкой тюрьме и дальнейшего следования в Восточную Сибирь содержится в посмертной статье д-ра Белого «Воспоминания ссыльного 80 годов», помещённой в №6 «Каторга и Ссылка». Д-р Белый умер в мае 1922 года, 74 лет отроду, в г. Тихвине, состоя на должности тюремного врача и заведующего городской амбулаторией и не переставая интересоваться вопросами общественной жизни.

в те немногие часы, когда нас выводили на палубу, мы имели возможность любоваться, хотя и сквозь проволочную решётку, мелькавшими перед нами очаровательными видами Волги и мрачно-грандиозными берегами Камы; по мере продвижения на север, природа становилась всё величественнее, но и суровее, и не знаешь, чему отдать предпочтение: очаровательной Волге или грандиозной, величественно-суровой, молчаливо-широкой Каме... Дней через 10 мы прибыли в красивую, живописно расположенную на берегах Камы Пермь, где прямо с пристани отправили нас, в ожидании дальнейшего следования, в суровую Пермскую Центральную тюрьму с её мрачной, каторжной дисциплиной и могильной тишиной Увы! ещё много месяцев нашими «гостиницами» в пути служили тюрьмы и этапы разных видов и сортов и с разными распорядками... После нескольких дней отдыха в этой невесёлой гостинице нас отправили опять по железной дороге до Екатеринбурга, в сопровождении неизменного майора Кузьмина с его 25 жандармами; после мрачной баржи это путешествие в обыкновенных пассажирских вагонах, в раскрытые окна которых вливался живительный осенний сентябрьский воздух, представляло нечто прямо восхитительное.

По мере приближения к Уральскому хребту природа становилась всё интереснее и величественнее; высываясь из окна вагона, я любовался нашим поездом, который, извиваясь подобно змее, то вползал тяжело, пыхтя, на пологие возвышенности, то быстро летел под гору... Железная дорога оканчивалась у Екатеринбурга, откуда нас повезли на удалых почтовых тройках. У перевала через Уральский хребет мы остановились, чтобы, так сказать, проститься, надолго проститься, быть может навсегда, с Европой, цивилизацией, культурой, ровными, друзьями и, увы, со всем нашим прошлым, нашим богатым, идейным прошлым, полным жизни и борьбы; здесь стоял высокий каменный столб, на лицевой стороне которого виднелась надпись: «Европа», а на задней — «Азия». Молча, долго и грустно стояли мы у этого мрачного столба: по сю сторону оставляем мы всё, что было и есть у нас самого дорогого и заветного, — мало того: оставляем

нашу милую, лучезарную, невозвратную юность. А что ждёт нас по ту сторону, в этой далёкой, загадочной «Азии»? И многим ли суждено вернуться из этих гиблых мест, когда и в каком виде?.. Кто знает!.. Езда на лошадях в Сибири куда приятнее, чем в Европейской России, где лошади тащутся вёрст по 8 в час, тогда как в Сибири они мчатся вёрст по 14-18, так что временами дух захватывает.

Первым Сибирским городом была Тюмень, с её старинной, мрачной пересыльной тюрьмой, времён чуть ли не самого Ермака Тимофеевича... Из Тюмени мы опять поплыли до Томска в арестантской барже по широкому простору мрачного Иртыша, а затем по бесконечной Оби с её плоскими, мрачными, тоскливыми берегами, мимо жалких прибрежных поселений полудиких, голодных, почти нищих остяков: по берегам Оби расположены такие гиблые ссылочные места, как Сургут и Нарым...

Чем севернее мы плыли, тем суровее, безлюднее, безнадежнее становились берега Оби, тем более зловещий характер принимала природа, тем тоскливее становилось на душе; перед взорами расстилалась какая-то безотрадная водная пустыня... В числе нашей партии ссыльных мы обратили внимание на совершенно незнакомого, довольно пожилого еврея с длинными пейсами, который упорно держался в стороне от нас и даже не прикасался к обеду, а когда нам случалось в разговоре между собой упоминать о нелегальной литературе или резко отзываться о правительстве или администрации, он смотрел на нас с неподдельным ужасом и неодобрительно покачивая головой. Этот оригинальный «политический» очень заинтересовал нас, так что, наконец, кто-то из нас, чтобы начать разговор, спросил его, почему он упорно не обедает со всеми нами, на что последовал довольно неожиданный в устах «политического» ответ, что он не ест «трефного»<sup>1</sup> мяса; тогда мы любопытствовали узнать, по чьему распоряжению и за что собственно он ссылается, на

---

<sup>1</sup> Правоверный еврей не употребляет в пищу мяса некоторых так называемых «нечистых» животных, например, мяса свиньи; также не допускается кушать мясо животных, не зарезанных специальным еврейским резником. Это запрещённое мясо называется трэфным. — прим. ред.

что последовал ещё более разительный ответ на плохом русском языке: «откуда я знаю, должно быть за маленький подлог». Потом он пояснил нам, что он жил в Одессе, занимаясь мелкой торговлей, и несколько лет тому назад он учёл подложный вексель, и, вероятно, теперь начальство про это узнало, и генерал-губернатор Тотлебен выслал его за это в Восточную Сибирь... Поднявшийся при этом дружный хохот сильно озадачил его и даже как-то обозлил; в отместку он стал бранить социалистов, которые осмеливаются идти против правительства и даже ругают «самого царя» и не признают бога. При всем нашем нелестном мнении о царском правительстве, и, в частности, о Тотлебене с Панютиным или, вернее, о Панютине с Тотлебеном<sup>1</sup>, мы всё-таки не подозревали, до какого жестокого, бессердечного идиотизма может дойти самодержавный произвол...

По поводу этого нам вообще очень захотелось узнать мотивы или основания нашей административной высылки; и вот один из конвойных под строжайшим секретом показал нам «постатейные списки»<sup>2</sup> некоторых из нас; большинство характеристик было буквально такое: «несомненно принадлежит к социально-революционному сообществу, но за неимением улик ссылается в Восточную Сибирь». Эта панютинская логика и беспредельная наглость были прямо восхитительны; бессмертный Салтыков-Щедрин, который точно с Панютина рисовал тип своего бюрократического Удава, не мог бы придумать таких замечательных по своему тупоумию мотивов, как «несомненно», «но за неимением улик». При чтении этой замечательной фразы «несомненно... но за неимением улик», по которой сотни лиц были сосланы в Восточную Сибирь, предо мною встал мрачный образ того сутуловатого господина в чёрном фраке со звездой,

---

<sup>1</sup> Тотлебен был одесским генерал-губернатором; до того известный боевой генерал, прославившийся во время защиты Севастополя в Крымскую кампанию 1856 г. к затем во время осады и взятия Плевны. Как одесский генерал-губернатор, Тотлебен не играл большой роли, вся власть находилась в руках данного ему в помощники статского советника Панютина — человека жестокого, гнусного и совершенно бессердечного. О Тотлебене и Панюгине читайте вып. I кн. С.Е. Лиона «От пропаганды к террору». — *прим. ред.*

<sup>2</sup> На каждого «арестанта» полагался так называемый «постатейный список», в котором заключались сведения о его возрасте, происхождении, социальном положении, совершенном им преступлении и куда и за что он ссылается.

с тусклыми ледяными глазами, который год тому назад приветствовал меня в моей мрачной одиночной камере Одесской тюрьмы не менее классической фразой: «я вижу, вам тут хорошо сидеть», — и который теперь как бы ехидно прибавляет: «а если бы улики были, то вы давным-давно были бы повешены»... По этой-то формуле был сослан и этот злополучный еврей, вся вина которого заключалась в том, что он когда-то сфабриковал подложный вексель, да и про эту вину никто не знал.

В нашей же партии был ещё один административно-ссылный, сославшийся по такой же точно формуле вместе с грудным ребёнком; постатейный список этого ребёнка тоже гласил: «несомненно принадлежит к социально-революционному сообществу, но за неимением улик»... для Панютина такие административные чудеса были нипочём...

Но к известному публицисту, редактору «Одесских Ведомостей», Сергею Николаевичу Южакову, Панютин почему-то не решился применить этой формулы, а изобрёл новую: «член зловредной семьи», так как его сестра Лиза была незадолго перед тем приговорена Одесским Военно-Окружным Судом к 4-летней каторге за принадлежность к социально-революционному сообществу. Истинная же причина ссылки Южакова в Восточную Сибирь заключалась в том, что по поводу соловьёвского покушения не было помещено в «Одесских Ведомостях» обычной рабски-негодующей передовицы...

Недели через 2 мы доплыли до Томска, откуда нас почему-то уже не повезли на быстрых почтовых тройках, а погнали обыкновенным этапным порядком, пешком; в первый день мы сделали вёрст 20. Был холодный осенний день, временами лил дождь, и мы порядочно прозябли, когда поздно вечером добрались до так называемого полуэтапа, — небольшой одноэтажной деревянной тюрьмы, с большим двором, обнесённым высоким деревянным частоколом; моментально у ворот этапа явились деревенские бабы-торговки с предложением пирогов, молока, хлеба и прочей снеди, но мы так продрогли, что попросили



у конвоя разрешения купить водки, чтобы согреться. Нам разрешили, и быть может эта живительная влага спасла многих из нас от заболевания.

От этапа до этапа расстояние составляет от 30 до 40 вёрст, которые пройти в один день не пугается, вследствие чего на половине этого пути и выстроены полуэтапы для ночлега; на каждом этапе полагается днёвка, т.-е. один день для полного отдыха, мытья и починки белья и т.п. После месячного путешествия пешком, в осеннюю слякоть, усталые и измученные, мы добрались, наконец, в половине октября до красноярской нашей «гостиницы» (от Томска до Красноярска 500 вёрст), где должны были пробить до тех пор, пока станет гигантская река Енисей, чтобы переправиться через неё по льду, для дальнейшего следования в Иркутск. В Красноярске закончилась миссия майора Кузьмина с его 25 жандармами, и здесь он благополучно сдал нас с рук на руки в распоряжение начальника Восточно-Сибирского тракта этапных команд, полковника Загарина, которому суждено было вскоре сыграть роковую роль в моей дальнейшей судьбе.

Это был типичный солдафон старых времён, грубый и необразованный, привыкший смотреть на подчинённых ему нижних чинов, как на безответную «серую скотину», а на уголовных преступников — как на лишённую всякого человеческого облика бесправную массу, и не имевший никакого представления о политических, которых раньше никогда не видел. В глуши Восточной Сибири он считал себя неограниченным властелином в пределах этапов и пересыльных тюрем, властелином, в распоряжении которого имелись команды зачерствелых, огрубевших солдат, привыкших слепо и беспрекословно исполнять распоряжения своего начальства...

По мере того, как надвигалась суровая сибирская зима, нас, одесситов, привычных к тёплому южному климату и плохо для Сибири одетых (на мне, например, был обыкновенный романовский полушубок<sup>1</sup>), начинала пугать перспектива этапного

---

<sup>1</sup> Романовский полушубок (шуба романовская) — полушубок мехом внутрь из шкур овец романовской породы с очень густой и прямой шерстью. Т.е., по-современному — «дублёнка». — прим. OCR.

пешего хождения в 40° сибирские морозы на протяжении целой тысячи вёрст, отделявших Красноярск от Иркутска. Это путешествие должно было продолжиться не менее двух месяцев и начаться не ранее половины ноября, так как до того нельзя было ожидать, что станет широкий, многоводный и быстрый Енисей. Сильно озабоченный этими видами на будущее, я послал уже несколько телеграмм своим родным, прося выслать рублей триста, чтобы проехать это расстояние на свой счёт на почтовых, так как надеялся, что мне это будет разрешено (в сопровождении, конечно, конвойных), но ответа почему-то не получал. И вот тут-то случился небольшой тюремный эпизод, который имел тяжёлые последствия для некоторых из нас, в том числе и для меня, хотя мог окончиться и много плачевнее. В числе административно-ссыльных нашей партии, как я уже упоминал, был секретарь Одесской Городской Управы Гернет, а также несколько его сослуживцев, которые пожелали отпраздновать день его именин, и для вящего торжества откомандировали одного из товарищей к уголовным раздобыть водки; как известно, карты и водка всегда имелись у уголовных, и этими вещами торговал так называемый «майданщик», выбираемый из ихней же среды; я не помню фамилии посланного товарища, но д-р Белый в своих подробных воспоминаниях об этом эпизоде называет его инициалами Ф-ов<sup>1</sup>. Когда Ф-ов раздобыл бутылку водки и победоносно возвращался к нам, его у наружных дверей остановил часовой, которому очевидно самому захотелось выпить, и стал насильно отнимать у него эту бутылку; Ф-ов закричал благим матом: «Товарищи, меня грабят, выручайте!» Все бросились к двери, отделявшей коридор от внутреннего двора, где стоял часовой, налегли на эту дверь, наружная скобка с замком выскочила, дверь распахнулась, и товарищи втащили Ф-ова в коридор вместе с бутылкой, которую он крепко и любовно держал в руках...

---

<sup>1</sup> См. журнал «Былое» за Октябрь 1907 года статью его под псевдонимом Якова Заполярного: «Бунт» пересыльных политических в Красноярской тюрьме. «Из воспоминаний бывшего политического ссыльного».

Но ликование товарищей было непродолжительно; скоро в коридор ворвался взвод солдат во главе с самим полковником Загариным, который был вдребезги пьян и кричал: «Кто здесь бунтует? Кто сломал дверь и осмелился прикасаться к часовому?» Воцарилось зловещее, жуткое молчание, — открытый конфликт с пьяным Загариным и его озверелыми солдатами в стенах тюрьмы, где мы были в его полной власти, не сулил ничего доброго. Но пьяный Загарин, которому, очевидно, очень хотелось посражаться с безоружными и беззащитными арестантами, не унимался и продолжал вызывающе орать: «Кто здесь бунтует?!». Наконец административно-ссылный одессит Борисов (жертва того же Панютина, очень образованный статистик и публицист<sup>1</sup>) не выдержал и довольно спокойно ответил храбром полковнику: «Кричать тут незачем, мы не глухие, дверей никто не ломал, а вольно же вам иметь в тюрьме такие гнилые двери, что к ним нельзя и дотронуться». Загарин от такого неслыханного ответа рассвирепел ещё пуще и, наступая на Борисова, спросил: «Кто вы такой?». Получив от него внушительный и краткий ответ: «кандидат прав», разошедшийся во всю пьяный солдафон Загарин (как пишет д-р Белый) прогремел: «Здесь нет никаких кандидатов, ни магистров, здесь все арестанты, а я — начальник Восточно-Сибирского тракта, волен делать с бунтовщиками, что мне заблагорассудится. Я сейчас же велю заковать вас в ручные и ножные кандалы», а пока приказал солдатам взять Борисова и посадить в карцер. Борисов пошёл без сопротивления. В этот-то момент товарищи из верхней камеры, в том числе и я, услышав крики Загарина и предчувствуя что-то неладное, стали спускаться с лестницы в нижний этаж, а Загарин, окружённый своими солдатами, кричит нам навстречу: «Что за шум?! Стой!» Но мы всё-таки продолжаем двигаться медленно вперёд, и когда расстояние между нами и солдатами стало не более аршина, Загарин вдруг крикнул солдатам: «Ружья на перевес!..» Что последовало дальше, пусть расскажет нам опять д-р Белый, который в следующих выражениях

---

<sup>1</sup> Евгений Иванович Борисов служил в Одесской Городской Управе делопроизводителем, под начальством секретаря Управы Гернета.

описывает наступивший момент и те ощущения, которые переживали он и его товарищи из нижней камеры:

«Прошла минута, в которую нас обуял такой ужас, что мы все стали кричать и просить товарищей остановиться. Благоразумие взяло верх, и они остановились. Картина была ужасная: перед безоружной и беззащитной толпой людей, чуть не прикасаясь к их грудям, блестел ряд направленных в них штыков. После команды солдатам: «вперёд!», ссыльные, не оборачиваясь, стали медленно отступать назад; солдаты с протянутыми штыками, а за ними Загарин поднимались медленно, шаг за шагом, вверх по лестнице. Нас, оставшихся сзади, и каторжан тотчас же заперли по камерам». Что последовало дальше, д-р Белый, стало быть, уже не видел ничего, а рассказывает со слов товарищей; поэтому расскажу уж я сам. Когда затем в нашу камеру ворвался пьяный Загарин и стал кричать: «Кто бунтовал?! Кто ломал дверь?!» Я не выдержал и крикнул ему: «Вы пьяны! Чего вы кричите?!» Загарин приказал солдатам схватить меня и отвести в карцер, но товарищи не хотели допустить этого, вследствие чего завязалась борьба: товарищи тащили меня назад к себе, а солдаты вперёд к себе; видя такую неравную борьбу и боясь быть разорванным пополам, я, наконец, стал просить товарищей отпустить меня...

После этого нас всех заковали в ручные кандалы, а меня вдобавок посадили в карцер на хлеб и воду, где я просидел в кандалах несколько дней, пока не прибыл в тюрьму Красноярский губернатор и распорядился всех расковать, а также выпустить из карцера меня и Борисова... Но этим ещё описанный «бунт» не закончился, это были ещё цветочки, а ягодка, и очень горькая, была впереди...

Недели две спустя, когда я по-прежнему не без ужаса помышлял о предстоящем зимнем этапном путешествии до Иркутска, ожидая как единственного спасения присылки денег от родных, мне вдруг объявили распоряжение — немедленно собраться в путь, так как меня доставят в Иркутск отдельно от всей партии на почтовой тройке в сопровождении жандарма «во избежание вредного влияния на остальных товарищей».

Оказывается, меня сочли одним из зачинщиков описанного Красноярского «бунта». Я был прямо в восторге и, простившись с товарищами, в трое суток домчался до Иркутска, так как мы ехали день и ночь, делая по триста вёрст в сутки. А товарищи, просидев ещё с месяц в Красноярской тюрьме в ожидании этапа, целых два месяца плелись до Иркутска в 40-градусные морозы, страдая невыразимо от жестокого холода... Но по приезде в Иркутск, я узнал обратную сторону той медали, которую мне преподнесли за участие в Красноярском «бунте»: вместо Иркутской губернии, мне, как зачинщику, была назначена для ссылки Якутская область, но и этого мало: Якутская область обширна, больше всей Западной Европы вместе взятой; но если в Западной Европе числилось в то время около 200 миллионов жителей, то в Якутской области их было 360 тысяч.

Якутская область бедна не только жителями, но и природой и культурой, но зато богата, очень богата гиблыми местами, и из всех гиблых мест выбрали для меня самое гиблое, хуже которого нет не только во всей Якутской области и во всей обширной России, но и на всем земном шаре, — это г. Верхоянск, расположенный за полярным кругом, на 68° северной широты и представляющий самый холодный пункт земного шара.

Но в тот момент я ещё не оценил и не мог оценить всей прелести этой обратной стороны медали: во-первых, я был слишком молод и жизнерадостен, полон энергии и жажды борьбы, а во-вторых, я почитал за счастье вырваться, наконец, из тюрьмы, очутиться на воле, без запоров, замков и часовых, — хотя бы то было у чёрта в пекле, — и единственное, что огорчало меня при этом известии, это то, что до предстоящего мне вожденного рая остаётся ещё около 5 тысяч вёрст...

Через несколько дней меня отправили в Якутск опять на почтовых, в сопровождении рослого, дюжего жандармского вахмистра; мы ехали очень быстро, день и ночь, вёрст по 300 в сутки, — обычная, впрочем, сибирская езда; станция от станции отстояла друг от друга вёрст на 25-30, и мы останавливались в них минут на 10 исключительно для перепряжки лошадей; не успеешь, бывало, сколько-нибудь обогреть свои окоченевшие

члены, как раздаётся обычное: «лошади готовы, пожалуйста!» и, делать нечего, опять на мороз, опять летишь дальше, всё дальше на север, всё ближе к полярному кругу; большая часть пути лежала по льду реки Лены, стлавшейся перед нами бесконечной, длинной лентой, необъятной ширины. Особенно мучительна была ночная езда: тридцати-пяти градусный и выше мороз (по Реомюру) пробирался сквозь мой романовский полушубок до мозга костей, спать хотелось смертельно, но от холоду часто просыпаешься. Наконец — долгожданная станция, где можно немного обогреться; с трудом расправляя окоченевшие члены, вылезаете из саней, с лицом, покрытым инеем и ледяными сосульками, которые долго не позволяют снять башлык, превратившийся в какую-то твёрдую доску. Мучительно хочется спать, глаза закрываются, начинаешь сладко клевать носом и вдруг слышишь сквозь дремоту: «лошади готовы!». Приходится опять одевать полушубок и башлык, и — снова на мороз, снова бесконечная белая лента широкой реки, то ярко освещённая холодным сиянием полной луны, то неясно вырисовывающаяся под мерцающим светом бесчисленных звёзд высокого небесного купола. И мчались мы таким образом целых 13 суток, день и ночь, день и ночь. Согревались мы как следует только раз в сутки, во время часовой остановки на обед, который, по сибирскому обычаю, состоял из пельменей; у сопровождавшего меня жандарма, как у всякого настоящего сибирского путешественника, имелся с собой мешочек с уже готовыми пельменями, которые от мороза представляли собою как бы мелкие камешки; и вот, приезжая на станцию, он велел подавать кипяток и, взяв из этого мешочка горсть таких камешков, бросал их в котелок с кипятком и через несколько минут готов чудный суп из пельменей, вкусный и сытный; а затем несколько стаканов горячего чая и вновь — в бесконечный путь-дорогу! Конвоиром моим был дюжий, бородатый жандармский унтер-офицер, по ночам нередко похрапывавший; несмотря на это — побег был невозможен не только потому, что он был вооружён

револьвером, был много сильнее меня и на его стороне был ямщик, но и потому, главным образом, что кругом была бесконечная пустыня и скрыться было некуда.

На 14-й день мы въехали в г. Якутск — столичный город той необъятной, ужасающей, ледяной пустыни, которая скромно именовалась Якутской областью и которая раскинута на громадном пространстве от середины Азиатского материка на север, вплоть до Ледовитого океана, а на восток до самого Берингова пролива и Великого океана; сам по себе г. Якутск — это жалкий деревянный городишко с числом жителей около 6 тысяч человек. Прямо с дороги мы, по установленному для политических ссыльных обычаю, подъехали к губернаторскому лому, и мой жандарм пригласил меня войти в приёмную губернатора.

Якутским губернатором в то время был некий довольно пожилой и добродушный генерал Черняев, который сразу объявил мне, что местом ссылки мне назначен г. Верхоянск, отстоящий от Якутска в 1000 верстах, что на днях я туда буду отправлен, а пока я препровождаюсь в обычную нашу гостиницу под вывеской «Якутский Тюремный Замок». Сколько припоминаю, в Якутской тюрьме других политических в то время не было, и я пользовался там большой свободой, гуляя, так сказать, по всей тюрьме.

Через несколько дней ко мне явилась незнакомая, довольно пожилая женщина, русская, и на мой недоуменный вопрос, чего ей надо, обратилась ко мне с такою приблизительно речью: «Батюшка мой<sup>1</sup>, кормилец мой родной, он у меня единственный, уж ты посмотри за ним, побереги его, ведь он совсем ещё ребёнок, никуда от меня ещё не уезжал, и вдруг в такую даль!». — «Да о ком ты говоришь?! В чем дело?» «Да вот, кормилец ты мой! сына-то моего Ванюшу отправляют с тобой в Верхоянск, шутка ли сказать, в такую даль-то! Так ты уж побереги его, будь за отца родного! Ведь он у меня единственный, малый-то он доб-

---

<sup>1</sup> Мне тогда было 23 года.

рый, да неразумный ещё, уж очень мал-то, свету ещё не видавал, всего-то ему 16 лет только минуло летом! Уж яви такую жестокую милость, пожалей меня, горемычную!..»

Оказалось, что моим конвоиром для сопровождения в Верхоянск командирован её единственный сын Иван (фамилии не помню), только-что по достижении законного 16-летнего возраста зачисленный понудительно в Якутское казачье сословие<sup>1</sup>. Делать нечего, я обещал этой чадолюбивой матери смотреть как следует за её сыном и беречь его от всяких бед и напастей, а сам хохотал в душе: «вот так конвоир!». Но в сущности никаких конвойных тут и не требовалось: меня уже завезли в такую даль, охраняемую безбрежными пустынями, тайгами и морозами, что о побеге при данных условиях и во сне нельзя было мечтать... Вместо этого пришлось от нечего делать доставить удовольствие бедной матери и беречь её сыночка, моего конвоира или, вернее, денщика, и не только денщика, но и переводчика. Дело в том, что за Якутском к северу начиналась уже сплошь страна якутов, ни слова не понимающих по-русски, а я ни слова не понимал по-якутски, казаки же местные настолько объякутились, что по-якутски говорили свободнее и правильнее, чем по-русски.

## **2. От Якутска до Верхоянска.**

Верхоянский округ (уезд) представляет собою буквально пустыню, пространством не менее Франции или Германии, с чрезвычайно редким населением, тысяч 60, состоящим из полуоседлых якутов, разбросанных редкими посёлками по всей этой необъятной суровой, угрюмой и неприветливой территории; население это ютится большею частью возле единственного тракта, ведущего из Якутска в Верхоянск и представляющего

---

<sup>1</sup> Сибирские казаки составляли наследственное сословие, в которое начислялись с момента рождения дети казачек мужского пола, взамен этого матерям выдавался ежемесячный паёк, состоявший приблизительно из двух пудов ржаной муки и сколько-то соли: цена этих продуктов в этих частях Якутской области так высока (рублей шесть пуд ржаной муки), а нужда среди местного русского коренного населения так велика, что все девицы казачьего сословия жаждали рождения мальчика, — голод не тётка! С 16-ти лет эти мальчики зачислялись на действительную службу, которая была пожизненной.



просёлочную дорогу самого первобытного типа. Посёлки состояли то из одной, то из двух-трёх юрт, расположенных обыкновенно у лесной опушки и разделённых одна от другой не десятками, а сотнями вёрст: поехать к соседу — значит отправиться за 200-300 вёрст. Таким образом путешествие в Верхоянск представляло собой нечто вроде экспедиции в далёкую пустыню, и необходимо было запастись съестными припасами, чтобы по дороге не погибнуть от голода; не даром бедная мать моего конвойного Ванюши так умоляла меня беречь своего единственного сына.

Так как большими денежными средствами я не обладал, то я взял с собою в дорогу около пуда ржанных сухарей, немного сахара, один кирпич чаю (фунта два весом) и несколько фунтов листовой махорки: все эти продукты очень любимы и очень ценятся якутами, от которых взамен можно получить молоко, сливки, масло и мясо. Впрочем, якуты необычайно гостеприимны и всегда накормят приезжего до отвала и совершенно бесплатно, так что когда вы им даёте немного ржанных сухарей или табаку, или чаю, то это уже имеет вид просто подарка, гостинца, а не товарообмена.

В начале января 1880 года я с своим юным казаком-конвоиром тронулись из Якутска в дальний, неведомый путь, провожаемый добрыми пожеланиями и благословениями его матери. Стоял жестокий 40-градусный (по Реомюру)<sup>1</sup> мороз; в наши сани («нарты»), нагруженные провизией, была впряжена обыкновенная якутская кляча, на которой верхом сидел ямщик-якут, — таков способ езды на лошадях в этих местах; при чем ямщик как бы ставит своей главной задачей ехать как можно медленнее: лошадь под его руководством делает несколько сажен какой-то мелкой, раздражающей рысцой, а потом идёт такое же расстояние шагом, затем опять той же мелкой рысцой и опять шагом, — словом, версты 4 в час. Правда, ямщику, привычному жителю этих ледяных пустынь, не так страшен 40-градусный мороз, но каково это жителю Одессы, да ещё плохо одетому для такого климата! Тут хочется поскорее добраться до тепла, а он,

---

<sup>1</sup> -50°C – прим. OCR.

хоть убей его, трух-трух, 4 версты в час! И вдобавок не перестаёт всю дорогу мурлыкать какую-то бесконечную, заунывную — не песню, а бесформенную, отвратительную дребедень, собственного произведения. Поёт якут про решительно всё, что видит на своём пути, точно пересказывает кому-либо, — например: вот висит ветка дерева, на ней много снега, вот тут в стороне след от пробежавшего зайца, вот кучка лошадиного навоза, вот седок закурил свою трубку, вот казак чихнул и т.д., без конца, не умолкая ни на секунду, и всё это однообразным, монотонным, заунывным, гортанным мурлыканием. Эта своеобразная песня свойственна неизменно всем путешествующим якутам всей Якутской области без исключения и составляет такую же неотъемлемую их принадлежность, как рот или глаза, или нос (впрочем, безносых якутов попадаетесь здесь довольно много, вследствие страшного распространения сифилиса, но якутов без такого пенья вы не встретите ни одного — ручаюсь вам).

Эта заунывная песнь доставляет, очевидно, большое развлечение и наслаждение их авторам, но меня она прямо допекала и нервировала до последней степени; никакие просьбы, мольбы прекратить хоть на короткое время это своеобразное пение не помогали; доведённый до отчаяния, я пробовал несколько раз откупаться деньгами, предлагал целый фунт листовой махорки, — продукт очень ценный в этих местах, стоящий не менее рубля фунт, но ничего не помогало, — импровизатор был неумолим, он, очевидно, высоко ценил своё первобытное поэтическое творчество, даже выше махорки...

Прошло уже часа четыре с того времени, как мы тронулись из Якутска, мороз здорово допекал меня; чтобы немного согреться, я уже несколько раз соскакивал с саней и бегал по дороге, легко обгоняя нашего возницу, неумолимо мурлыкавшего своё нескончаемое «стихотворение в прозе»; привыкши к сибирской езде на почтовых, я уже предвкушал близкую остановку в тёплой почтовой станции, где можно будет обогреться и подкрепиться. Но время ползло медленно, ещё медленнее ползли мы, зато быстро крепчал мороз, а станции всё не видать; наконец, мучимый невыносимым холодом, ледящим как бы

самую душу, я любопытствовал у якута (через казака-переводчика), долею ли до станции, и получил ответ, что скоро будет «поварня», где мы и заночуем... Прошло ещё бесконечных мучительных часа два, как вдруг наш якут остановился на опушке леса, пред маленькой деревянной избушкой на курьих ножках; её открытая настежь дверь была обращена к лесу, единственное окно было заложено толстой льдиной, из низкой трубы на плоской крыше не видно было никакого дыма; это и есть «поварня», в которой останавливаются путники в этой пустыне в ожидании настоящего человеческого жилья. Мы сделали во весь день вёрст 25. Якут привязал лошадь к дереву и отправился вместе с казаком в глубь леса набрать хворосту и валежника и нарубить дров.

Минут через 20 в «камельке» поварни весело трещал огонь, кипятили чайник со снегом, а в ожидании пока снег превратится в воду, а вода закипит, мы с наслаждением грели вокруг камелька свои окоченевшие члены; напившись кирпичного чаю и закусив ржаными сухарями (высшее лакомство здешних мест), подложив дров в камелёк и прикрыв дверь, мы расположились спать на длинных узких деревянных нарах, идущих вдоль двух стен, подостлав оленьи шкуры. В поварне температура была немногим больше нуля; поэтому я не решился раздеваться, а снял только полушубок и укрылся им и оленьей шкурой; моему примеру последовал и казачок; но якут, к моему удивлению, разделся донага, сняв даже рубашку, и в таком виде лёг под оленью шкуру...

Не помню, сколько я проспал, но вдруг проснулся от страшного холода: смотрю, одеяло моё и полушубок лежат на полу, в поварне — адский холод, так как камелёк погас, а якут и казачок спят безмятежно... Кое-как я раздул опять огонь в камельке, вновь улёгся на свою неуютную постель и, усталый и измученный от дневного путешествия, забылся тяжёлым кошмарным сном.

Рано утром якут с казаком вновь затопили камелёк, мы выпили по несколько чашек кирпичного чаю (чёрного и густого, как навоз, зато горячего и дешёвого) с ржаными сухарями и,

оставивши поварню такой же открытой и неуютной для наших злополучных преемников, тронулись в дальнейший путь; те же муки нестерпимого холода, та же невыносимая пытка поэтиче-ско-музыкального якутского творчества мурлыкающего возни-цы (не могу решить, какое мучение было хуже). К вечеру вновь достигли поварни, где вновь я провёл такую же кошмарную ночь, от которой до сих пор мороз по коже подирает...

. На 3-й или на 4-й день поднялась сильнейшая метель, дорога стала труднее, езда ещё медленнее; тоска невыносимая... Чтобы хоть несколько скрасить её, я сам стал петь, чтобы перекрычать якута, — не знаю, кто из нас благозвучнее пел, так как почти со-всем не обладаю слухом... На следующий день я почувствовал сильное ослабление аппетита и какую-то вялость, которые я объяснял себе естественной усталостью от столь комфорта-бельного путешествия при 40-градусном морозе. Только на 6-й или 7-й день мы добрались до человеческого жилья; это была обыкновенная якутская юрта, — да, конечно, самая обыкновен-ная, но я-то видел её в первый раз в моей жизни и, говоря откро-венно, совсем не желал бы видеть её вновь, даже во сне, и дру-гим не желаю. Это был скорее хлев, чем человеческое жильё, так как в этой юрте помещались и коровы с телятами; кроме скота в ней помещалось несколько якутских поколений, — внуки и внучки, с дедушками и бабушками... Так что теснота была невы-носимая. Юрта представляет собою деревянное строение с наклонными наружу стенами, сделанными из вертикальных ко-льев, обмазанных глиною и навозом; крыша плоская, посыпан-ная толстым слоем земли; вместо стёкол вставлены толстые, громоздкие льдины, так как никакое стекло не выдержит долго якутских морозов. Юрта согревается неизменным камельком; отапливается он дровами, которые ставятся на низкий земля-ной под, торчком вдоль полукруглой трубы, выходящей отвер-стием в крышу и закрывающейся снаружи куском коровьей или оленьей шкуры или толстой тряпкой. Пока камелёк топится, от его лучистой теплоты делается в юрте очень тепло, даже жарко, уютно и как-то весело; но после закрытия трубы, тепло это не-

долго может бороться с якутским морозом, особенно крепчающим к ночи; к утру в юрте становится так холодно, что вода на полу замерзает...

Наконец, донельзя промёрзшие и измученные, мы подъехали к этой давножданной и давно желанной юрте, которая ещё издали приветствовала нас целыми снопами искр, взлетающих к морозному звёздному небу из широкого отверстия весёлого камелька.

Все её обитатели от мала до велика высыпали к нам навстречу, движимые прирождённым чувством гостеприимства и не менее сильным чувством любопытства, столь естественным в этой пустыне, где приезжий составляет целое событие, особенно когда он из самого столичного града Якутска, а ещё более, когда он русский («нуча»). К русским якуты относятся с большим уважением... «Капсе дагор!» («Сказывай, приятель!» — это первое приветствие при всякой встрече); уже в этом неизменном и своеобразном приветствии сказывается то необычайное чувство любопытства или, если хотите, любознательности, которыми отличаются неизбалованные и неприхотливые обитатели заполярной пустыни. С этим-то приветствием обратились наши гостеприимные хозяева первым делом к нашему вознице, который, конечно, сейчас же сообщил им, что он везёт в Верхоянск царского преступника («рахта хайлак»), сопровождаемого казаком; послышалось с разных сторон характерное односложное восклицание «Оксе!» (знак удивления, вроде нашего: «Вот как!» или: «Скажи, пожалуйста!»). Едва мы вошли в юрту чрез узкую, низкую дверь, обитую оленьей шкурой и такую же наклонную как вся стена, как на камельке появился громадной величины медный чайник с насыпанным в него сверх краёв снегом, привешенный к особому крючку. Около камелька засуетились две якутки, одна старуха, другая молодуха, но обе безобразного монгольского типа, с раскосыми глазами и выдающимися скулами; скоро на камельке появились и сковородки с коровьим мясом, разрезанным для жаркого на мелкие кусочки... Но к величайшему моему удивлению, то ослабление аппетита, которое я ощущал последние два дня,

превратилось в какое-то отвращение к еде, хотя я ничего почти не ел за последние дни; я даже от чаю должен был отказаться, а хотелось чего-то кисленького, и мне подали мёрзлой брусники, которую я стал глотать с наслаждением. Я ощущал какое-то недомогание во всём организме.

Скоро я, так ничего и не поевши с дороги, в то время, как мои спутники наслаждались скромными, но обильными яствами, — разделся и заснул тяжёлым сном, всю ночь томимый жаждой, которую я заглушал вкусной мёрзлой брусникой из стоявшем возле меня на столике большой деревянной миски... Утром я проснулся с сильным жаром; из груди точно вынули лёгкие и вместо них вложили камень; в правом боку ощущалась страшная боль при малейшем движении; малейший кашель причинял также страшную боль... Так как я раньше никогда в жизни не хворал и в медицине ничего не смыслил, то я не мог дать себе отчёта, что со мною, и решил, что это небольшая простуда, которую я схватил, когда во время метели и мороза распевал во всю глотку... Попробовал встать в постели, — не хватает силы; делать было нечего, и я объявил своему казаку, что дальше ехать не могу; ни казак, ни возница нисколько, по-видимому, не огорчились и не прочь были продлить свой отдых в гостеприимной юрте. Лежу день, лежу другой, третий, пятый, шестой; в груди — по-прежнему тяжёлый булыжник, в правом боку, чуть повернёшься, адская боль; никакого аппетита, абсолютно ничего не ем и не пью вот уже седьмой день, только жадно глотаю мёрзлую бруснику... На верхних полатах у противоположной стены лежит старый якут и мучительно покашливает всё время, тоже жалуясь на боль в боку... Я спрашиваю хозяина юрты (через переводчика-казака), не может ли он объяснить, что за болезнь у меня? Он, не задумываясь, отвечает: «колики»; оказывается, что как раз теперь свирепствует эпидемия этих «коликов», что старый якут вот уже неделю страдает тою же болезнью. «Чем же вы лечитесь?» — спросил я; ответ получился довольно неожиданный и малоутешительный: «спиртом, надо выпить спирту; а если не поможет, то значит — воля божья!». «Где же

вы достаёте спирт?» (продажа спирта «инородцам» строго воспрещалась и составляла предмет контрабанды); «А тут недалеко, верстах в 15, можно купить, 3 рубля стоит бутылка; можно послать верхом нарочного, он к вечеру привезёт». Делать нечего: так как на расстоянии сотен вёрст не было ни врача, ни фельдшера, ни какой-либо медицинской помощи, я решился последовать совету людей, умудрённых, по-видимому, опытом, и «нарочный» за бутылкой спирта был немедленно послан. Между тем температура у меня всё поднималась и к вечеру достигла наивысшего предела; я страдал невыразимо и думал, что умираю. Тяжело было сознание, что умираешь так глупо здесь, одинокий, в юрте, заброшенный в эту полярную глушь, среди полудиких якутов, беспомощный, без ухода, вдали от всех близких и родных, во цвете лет, так и не добравшись до «воли»...

Я взял бумагу и карандаш и нацарапал прощальное письмо к родным, полное горького, жгучего сожаления умирающего о погибшей юной жизни, так мало сделавшего для великого дела социальной революции... Перечитывая потом это письмо, я был поражён большим количеством грубых грамматических ошибок: значит, очень высока была температура... Страдания становились всё сильнее, жар невыносимее, временами я бредил...

Наконец, поздно вечером вернулся нарочный с бутылкой спирту, — как оказалось потом, чистейшего, неразбавленного спирта! Мне налили порядочный винный стаканчик, и я залпом выпил его: огненные круги заходили у меня в глазах, мне показалось, что я падаю стремглав в какую-то огненную бездну и... я потерял сознание... Утром я проснулся и почувствовал себя гораздо лучше. Температура нормальная, боли нигде никакой, свободное дыхание, восторг выздоровевшего человека! Но когда я поднялся с постели, то почувствовал сильную слабость и едва держался на ногах. Впоследствии, уже живя в Верхоянске, я узнал от товарища по ссылке д-ра Белого, что болезнь моя была не более не менее как крупозное воспаление правого лёгкого, вызванное сильной простудой, и что только молодой здоровый организм мог вынести её при отсутствии всякой медицинской помощи и всякого ухода; тщательно освидетельствовав меня,

Белый объявил, что болезнь эта не оставила никаких вредных следов. На мой вопрос, играл ли выпитый мною стакан спирта какую-либо роль в благополучном исходе болезни, он задумчиво ответил: «Видите ли, кризис при воспалении лёгких наступает в нечётные дни; то был седьмой день и, очевидно, наступил кризис, решавший вашу участь. Некоторые врачи полагают, что водка, поддерживая силы больного, облегчает перенесение кризиса; многие английские врачи часто прибегают к этому средству, а вы выпили её как раз в момент кризиса, возможно, что она и помогла»... Еще раньше, до того как я свалился с ног, мой возница говорил нам, что ввиду трудности санного пути мы дальше поедём верхом на лошадях; признаюсь, эта перспектива изрядно пугала меня, так как я до того ни разу верхом не ездил и не мог себе даже вообразить, чтобы я был в состоянии совершить верхом 800 вёрст по диким тропинкам этой пустыни, да ещё в сорока- или пятидесятиградусные морозы и в одежде, совершенно непригодной для верховой езды... К вечеру казачок сообщил мне, что со следующей станции, по пути из Верхоянска в Якутск, только что приехал кто-то на оленях и что завтра же ямщик на этих оленях возвращается обратно, так не желаю ли я воспользоваться случаем двинуться дальше на этих «обратных» оленях; как ни был я слаб после перенесённой тяжкой болезни, но перспектива верховой езды так страшила меня, что я с радостью ухватился за этот случай, и на утро следующего дня я уже был в дороге.

Ничего не может быть грациознее оленей в санной запряжке, с их красивыми высокими ветвистыми рогами; они бегут легко, быстро и бесшумно, скользя точно привидения, со скоростью до 12 вёрст в час. Эти милые, кроткие животные, напоминающие ростом мула или пони, но необычайно красивые, стройные и изящные, отличаются необычайной неустойчивостью или, скорее, покорностью; они никогда не выказывают признаков усталости, никогда, так сказать, не саботируют; а если вы злоупотребляете их терпеливой кротостью, они отомстят вам... своею смертью: на всём быстром ходу вдруг упадут на землю и испустят свой незлобивый дух, смежив навек свои глаза... Словом,



езда на оленях неизмеримо приятнее, чем на якутских лошадях с их своеобразно-возмутительной, раздражающей трусцой. Замечательно, что лошади очень пугаются оленей и при встрече с ними шарахаются в сторону...

Удивительно живуча молодость. Только что вставши с одра болезни, я целый день ехал при 40-градусном морозе, но, не доехавши на этот раз даже до поварни, мы заночевали у подножия высокого Верхоянского хребта, в открытом поле, на снегу! Развели костёр, сварили чай, поужинали; постлали на снегу зелёной хвои, на ней оленью шкуру, и я улёгся, не раздеваясь, укрывшись также оленьей шкурой и своим полушубком; то же сделали мой ямщик и казак, с тою разницей, что ямщик, по якутскому обычаю, разделся донага... И вот здесь, у самого подножия Верхоянского хребта, я уснул в 50-градусную морозную ночь, при потухшем костре, охраняемый мириадами ярких звёзд на небесном своде, по которому время от времени вспыхивали и перебегали широкие волшебные снопы загадочно-мерцающего северного сияния... Бесконечно длинна заполярная ночь; несколько раз потухал наш костёр, немного согревший нас, несколько раз среди ночи вставали ямщик и мой юный казак, чтобы вновь раздуть его, много раз просыпался я от пронизывающего холода и вновь кутался в сползавшие оленью шкуру и полушубок; наконец, часов около 10 стало немного светать, ямщик с казаком набрали валежнику, развели костёр и вскипятили чай; тогда только и я решился встать и подсел к костру; быстро напившись чаю, мы начали трудное восхождение на Верхоянский хребет. Вначале, пока подъем был не очень крутой, мы сидели в санях, медленно влекомых парой оленей, но, одолевши приблизительно одну треть горы, нам пришлось слезть и идти дальше пешком, так как подъем становился всё круче, и оленям уже было не под силу везти нас. Лежал глубокий, более аршина, снег, в который мы чуть ли не ежеминутно проваливались, с трудом передвигая ноги; дорога была настолько трудна, что, несмотря на 40-градусный мороз, потлился с меня градом, а тут ещё ямщик не переставал испуганно поторапливать нас, чтобы до вечера добраться до вершины,

уверяя, что если вдруг подует сильный ветер, мы будем сметены вниз и можем погибнуть. Последняя треть горы была настолько крута, почти вертикальна, что пришлось уже не идти, а ползти почти на четвереньках, цепляясь то за редкие кустики или ветки чахлых карликовых деревьев, то за выступы горы или за торчавшие кое-где под ногами каменные глыбы; подъем продолжался несколько часов, и уже стало смеркаться, когда я со своими двумя спутниками добрался, наконец, до вершины знаменитого Верхоянского хребта, весь обливаясь потом, измученный и голодный.

Здесь наш якут в знак благодарности духу горы за благополучный перевал повесил на старинный, ветхий деревянный крест, увешанный многочисленными приношениями благодарных путников в виде разной дряни, и свои несколько лоскутьев; сделав коротенький привал, чтобы немного отдышаться и дать отдохнуть нашим оленям, мы вновь запрягли оленей в нарту и стали спускаться по довольно отлогому склону на ту сторону Верхоянского хребта, отделяющего Якутский округ от Верхоянского; ямщик очень торопил нас, всё ещё опасаясь, как бы злой дух горных ущелий не вздумал выпустить на нас свой ветер, который мог бы смести нас вместе с нартой и оленями стремглав вниз в долину... Отсюда, на склонах Верхоянского хребта, берёт своё начало река Яна, имеющая в длину более 3 тысяч вёрст, становящаяся в дальнейшем течении всё шире и шире, достигающая в Верхоянске не менее версты шириною и впадающая в Ледовитый океан на расстоянии около 2500 вёрст к северу от Верхоянска.

Дней через 10 после этого мы, наконец, подъезжали к Верхоянску; был ясный морозный день, градусов 35.

Жадно, с большим душевным волнением вглядывался я в пустынную даль, чтобы узреть тот город, где волею Панютина и прочих царских палачей суждено мне пробыть долгие, долгие, мучительные годы, а быть может и всю жизнь, и куда я добрался после 6-месячного пути, — по железной дороге, водою, пешком,

на почтовых перекладных, на якутских лошадях, на оленях, летом, осенью и зимой, в дождь и метель, в жар и холод, днём и ночью, сделав около 9 тысяч вёрст...

Вот показалась небольшая, старенькая деревянная церковь сельского типа с сверкающим золотым крестом, а вокруг неё разбросано несколько десятков юрт, — это и есть Верхоянск, столица Верхоянского округа. Подъезжаем прямо к Окружному Полицейскому Управлению, расположенному неподалёку от церкви и представляющему большое деревянное одноэтажное здание, довольно приличное на вид, с настоящими стёклами вместо льдин, почти напротив большого деревянного дома, занимаемого окружным исправником и имеющего тоже очень приличный вид; и тот и другой покрыты железной крышей и выкрашены в жёлтую краску... Навстречу нам уже бежали почти все жители городка, так как с нами прибыла почта.

Прибытие почты из Якутска представляло в высшей степени счастливое и чрезвычайное событие: почта в Верхоянск приходила всего 3 или 4 раза в год, в остальное же время Верхоянск отрезан от всего мира, а тут ещё привезли нового, свежего «государственного преступника». Через несколько минут явился сам исправник Кочаровский и его помощник Ипатьев и приступили к приёму от моего казака почты и меня; в передней Полицейского Управления набралось много народу, в том числе и все политические ссыльные, горевшие нетерпением скорее получить давножданные письма с далёкой милой родины и газеты, а также поскорее принять в свою среду нового товарища по несчастью и узнать от него все конспиративные новости.

Не прошло и часу, как товарищи уже вели меня к себе в свою юрту, счастливые и нагруженные письмами и «свежими» газетами, отосланными из России месяцев семь тому назад... Итак, я — на свободе! Какое неизмеримое блаженство — свобода! Иду по улице без конвоя, я уже не в тюремной клетке, нет железных решёток, не щелкает злобный замок в массивных тюремных дверях, не идёт за мной неотступно тюремный надзиратель, я — не арестант под № таким-то, я — свободный человек, надо

мною беспредельный свод небесный, а кругом широкий, безграничный простор вольной природы — какое невыразимое счастье, какой безграничный восторг!

После годового мрачного одиночного заключения, после полугодового скитания по тюрьмам и этапам — я вновь человек, могу свободно располагать собою, своим временем, делать что и когда хочу!.. Таковы были мои ощущения и мысли в медовый месяц моего водворения в Верхоянске. Как всё на свете — относительно!

### **3. Самый холодный пункт земного шара.**

Я поселился в одной юрте с верхоянскими политическими ссыльными, и мы зажили коммуной. Нас было в коммуне, помнится, человек 8: Царевский, Зак, Бать, Вацлав Серошевский, Хазов, Арцыбушев, Александрова и я. Отдельно от нас жил Стопани, погруженный в полную апатию и часто выпивавший, но в остальном честный революционер и прекрасный, милый товарищ.

Отдельно жил также д-р Яков Моисеевич Белый, который поддерживал с нами вполне дружеские, товарищеские отношения, но считал нас слишком «левыми», слишком «нигилистами»; он старался быть в ладах с исправником, чтобы иметь возможность заниматься хотя бы в скромных размерах своей любимой врачебной профессией.

Политическим ссыльным, вообще, запрещались какие бы то ни было занятия или служба, кроме физических ремёсел, а нужда во враче была громадная, так как в Верхоянске был один врач на весь Верхоянский округ, состоявший на правительственной службе, но никуда негодный, так как он был вдребезги пьян каждый день с утра до ночи.

Остальные товарищи, побывавшие раньше в ссылке в разных медвежьих углах Европейской России, были более или менее закалённые революционные борцы, не даром попавшие в Верхоянские пустыни. Самым молодым был 20-летний хорошенький

студент Бать, попавший в Верхоянск из Одессы за участие в самых обыкновенных студенческих беспорядках, не вышедших за пределы университетского здания<sup>1</sup>.

Это, впрочем, нисколько не мешало ему геройски переносить свою участь, он был всегда весел и жизнерадостен, но мне, признаться сказать, было всегда как-то особенно больно видеть этого милого, симпатичного юношу среди этой жестокой Верхоянской пустыни... Первые дни моего пребывания в Верхоянске прошли в нескончаемых беседах и спорах о новом направлении революционного движения в России, т.-е. о терроре.

Товарищи естественно набросились на меня, как на свежего человека с подробными расспросами о причинах и целях терроризма, о последних революционных событиях и т.д.; для това-

рищей, давно уже оторванных от живой жизни, всё было ново, странно и трудно переваримо. Поднялись нескончаемые споры о мирной пропаганде и терроре, о вреде (да, о вреде!) или необходимости политической свободы и конституции, о возможности сразу перейти от царского самодержавия путём социальной революции к анархо-коммунистическому строю, минуя разные буржуазные конституции. Спорили ночи напролёт, страстно и ожесточённо, со



Рис. 1. Наружный и внутренний вид юрты, в которой жили ссыльные.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Он первоначально был направлен в Забайкальскую область, но за участие в Красноярском «бунте» был сослан в Верхоянск.

<sup>2</sup> Все иллюстрации в данной книге были позаимствованы автором из книги Дж.Мельвилля «В дельте Лены», о которой смотрите далее. — прим. OCR.

всем пылом молодости, забывая о себе и помня только об одном кумире — русском многострадальном народе...

Споры были особенно ожесточёнными потому, что товарищи были завзятыми сторонниками «мирной» пропаганды...

Революционное движение в России переживало уже с год сильнейший кризис, вызвавший летом 1879 года созыв тайного Липецкого Съезда, где произошёл раскол партии на народо-вольцев во главе с Андреем Желябовым, задавшихся целью добиться конституции путём террора, и землевольцев (партия «Земля и Воля»), сторонников прежней «мирной» пропаганды, с перевесом первых.

Вопрос о повороте на новый путь для добывания политической свободы, разрешённый здесь в утвердительном смысле, был вопросом, можно сказать, всемирно-исторической важности, диктовался самой жизнью, всем ходом истории, но в умах вождей революции вызывал большие колебания и сомнения; здесь вполне оправдалось марксистское определение «бытие определяет сознание»; кончили тем, что решительно повернули на путь революционного террора...

Наша коммуна устроилась следующим образом: юрта наша состояла из двух комнат, — одной побольше, и другой совсем крохотной, в которой помещались Арцыбушев со своей женой Александровой; так как прислуги у нас не было, то её обязанности и исполнял каждый из нас поочерёдно, дежуря один день. На обязанности дежурного лежало: прежде всего, встать с рассветом, пока все товарищи ещё спят, и затопить камелёк.

Это был самый тяжёлый момент: юрта за бесконечную зимнюю ночь остывала до такой степени, что вода замерзала, температура в комнате ниже нуля. Сбрасываю с себя мягкую оленью шкуру, служащую мне одеялом, и одеваю свою обычную зимнюю одежду: меховые чулки, меховые брюки, меховой жилет, меховую куртку и полушубок, лицо и нос закрываю башлыком, так как на дворе мороз такой, что трудно дышать, и выхожу на улицу, чтобы по лесенке взобраться на невысокую плоскую крышу нашей юрты и вынуть из трубы камелька тряпичную за-тычку. Затем беру охапку дров, наколотых накануне дежурным,

затопляю камелёк, наполняю большой медный чайник кусками чистого льда (готовой воды в этом климате не бывает) и вешаю его на шест над очагом камелька.

Минут через двадцать готов горячий кирпичный чай, цвета жирного навоза, и только тогда я начинаю будить своих товарищей, спящих безмятежным сном.

По окончании чаепития, каждый занимается своим делом: кто столярничает (Царевский), кто занимается кузнечно-слесарной работой (Серошевский), кто читает и т.п. Я же по обязанности дежурного начинаю готовить незатейливый обед: вношу мёрзлое мясо, ставлю на камелёк небольшой котёл для супа, а на второе нарезаваю мясо мелкими кусочками, чтобы изжарить на сковородке, или же варю, или жарю рыбу, которую так богата летом многоводная Яна.

На обязанности дежурного лежит также колка дров на морозе, уборка юрты, мытье посуды, заготовка льда для воды и т.д.; дежурство заканчивается поздно вечером изготовлением ужина и вечернего чая. Зато остальные дни до нового дежурства каждый в свою очередь живёт полным «барином», за которым ухаживает и которому прислуживает дежурный. Так как керосину в Верхоянске в продаже никогда не бывало и о нём даже понятия не имеют, а в виде редкой роскоши продаются, и то не всегда, стеариновые свечи по баснословно дорогой цене — рубль фунт, то нам приходилось самим позаботиться о сколько-нибудь сносном освещении своей юрты.

Надо иметь в виду, что Верхоянск расположен за полярным кругом ( $67\frac{1}{2}$  градусов северной широты), и зимние вечера и ночи там бесконечно длинные, длиннее, чем в каком-либо из северных городов Сибири, так как Верхоянск — самый северный сибирский город. Со второй половины ноября по 2-е января солнце совсем не всходит; светать начинает часов в 10 утра, постепенно заря разгорается, небо всё более розовеет, но к часу дня заря уже потухает, так что в этот период времени ночь тянется 21 час.

Якуты довольствуются светом от горящего камелька или же, в лучшем случае, тусклым светильником из тюленьего жира.

При таком положении вопроса и так как чтение составляло нашу лучшую отраду в эти бесконечные зимние вечера, мы стали собственноручно изготавливать сальные свечи, вытапливая коровье сало и разливая его в изготавливаемые нами же жестяные формочки, фитили тоже сами изготавливали; а в особо торжественных случаях позволяли себе изредка зажигать стеариновые свечи. Но изготовление сальных свечей не было обязательно для одного лишь дежурного, — их фабриковала вся коммуна, с соответствующим разделением труда.

Медовый месяц моей ссылки скоро прошёл, и наступило грустное отрезвление и разочарование под влиянием ужасающей действительности; вокруг — дикая, мёртвая природа, дикие мёртвые люди, среди которых приходилось нам, печальным политическим изгнанникам, «царским преступникам», коротать свои унылые, тоскливые дни или, вернее, ночи. Сроки ссылки тогда не были установлены, — ссылали на неопределённое время, — ссылали и забывали; забытые ссыльные пребывали в ссылке по 10, по 20 лет, а то и всю жизнь; и это сознание безнадёжности положения, жестокости правительства, которое способно не только ссылать в эти проклятые, гиблые места, но и просто забывать про свои жертвы, заживо хоронить их там, — это сознание могло привести в отчаяние и бешенство...

Наступил март месяц, повеяло верхоянской «весной». — морозы ослабели настолько, что доходили «всего» до 20 градусов по Реомюру, и можно было гулять по печальным окрестностям той низины, на которой расположен Верхоянск, состоящий из нескольких десятков юрт, разбросанных большею частью вокруг небольшого и неглубокого озера, расположенного, так сказать, в центре, близ Полицейского Управления и церкви.

С товарищами всё было уже переговорено, все новости разжёваны и пережёваны, все газеты перечитаны и высосаны до последней строчки. Стали ждать следующей почты, и в этом ожидании, томительном и страстном, сосредоточилась вся наша жизнь; ведь почта приходит всего один раз в три или четыре месяца (последний раз она пришла со мною), и надо вооружиться терпением.



Я лично с того момента, когда в августе 1879 года предо мною открылись ворота Одесской тюрьмы для следования в Восточную Сибирь, не имел ещё ни одной весточки от родных, проживающих в Кишинёве, где я родился и окончил гимназию.

Наступил апрель, солнце начинало понемногу припекать, снег рыхлеть; к концу апреля (по старому стилю, конечно) дни стали очень большие, часов 18, солнце сильно пригревало, санный путь стал серьёзно портиться.

1-го мая перед вечером, когда мы запивали свой скудный ужин неизменным кирпичным чаем (без сахара, конечно, потому что сахар стоил 1 р. фунт и был нам недоступен), вдруг раздался какой-то страшный грохот, точно сильнейшая пушечная пальба, — то тронулся лёд на реке Яне, отстоящей от города верстах в двух; мы побежали к реке, там собрались уже все жители от мала до велика, оживлённые и возбуждённые, чтобы поглядеть на грандиозное и радостное зрелище.

Кто не видал широких, могучих сибирских рек, тот с трудом представит себе картину этого ледохода: высокие, толстые, крепкие льдины, цвета синего хрусталя, до сажени и больше вышиною и приблизительно такой же ширины, громоздились друг на друга или с грохотом и необычайной силой сталкивались друг с другом, под напором могучего, быстрого течения вешних вод.

Река вышла из берегов и разлилась так широко, что не видать было противоположного берега; жители на радостях палили из своих кремневых ружей, — радость их была не совсем платонического характера, а весьма практического, узкоматериального свойства, так как со вскрытием реки начинался улов рыбы, которой так богата р. Яна, — рыбы крупной и роскошной, как-то: нельма, чир, муксун. Скудные запасы провизии, заготовленные на зиму, давно уже были съедены, и для местных якутов и казаков наступила ещё с марта порядочная голодовка, — весьма, впрочем, обычная в здешних некультурных условиях полудикого быта и повторявшаяся регулярно каждую весну, точно неизменный закон природы. А между тем рыбные богатства в реке Яне неисчерпаемы, как и во всех больших реках северной

Сибири, но местные жители, благодаря своей некультурности, а также отсутствию средств на покупку соли, очень дорого здесь стоящей, и запасы которой притом весьма ограничены, не привыкли солить её впрок, так что зимой варят её совершенно тухлой. Если в юрте стоит нестерпимая, буквально дух захватывающая вонь, то это значит, что якуты наслаждаются рыбной пищей; царское же правительство никогда не заботилось о снабжении жителей дешёвой солью и о приучении их к рытью погребов и к солке рыбы...

Ледоход продолжался дня три, ледяные горы понемногу исчезали, кувыркаясь, дробясь и мельчая от взаимных столкновений, и, наконец, широкая и могучая Яна, сверкая своею блестящей зеркальной поверхностью в рамке пустынных берегов и ещё голых не покрытых зеленью прибрежных кустов и деревьев, понесла свои стремительно быстрые воды в далёкий Ледовитый океан на протяжении около 3 тысяч вёрст...

Восемь месяцев спит верхоянская природа непробудным ледяным сном, скованная морозами, под снежными сугробами, глубиною не менее двух аршин; сон этот непрерывный, без передышки, без единой оттепели, при минимальном морозе в начале и под конец около 20 градусов и при максимальном почти до 70.

Но вот наступает в начале мая весна, и природа точно спешит наверстать потерянное время; голые, мёртвые кусты и деревья буквально в три дня, не больше и не меньше, точно по волшебной команде, точно в сказке, одеваются в свою форменную зелёную одежду, — кусты и ивы покрываются сочною листвою, лиственницы и сосны зелёными иглами. Эта свежая зелень радует глаз; но горе вам, если вы вздумаете отправиться беспечно в заманчиво зеленеющий лес: только вы вступите на его территорию, как на вас набросятся мириады жадных комаров, которые облепят ваше лицо, глаза, залезут в уши, в нос, под брюки, под одежду, всюду, и будут жалить вас беспощадно, заполняя воздух своим назойливым, адским, зловещим писком и жужжанием и заслоняя своими тучами даже солнечный свет.

Выйти на улицу можно не иначе, как одевши на лицо большую густую сетку из крепкого конского волоса, а на руки замшевые перчатки; в сетке нестерпимо душно, её нельзя приподнять ни на секунду, но кровожадные комары, залепляя своими legionами даже сетку со всех сторон — спереди, сзади и сбоков, пробуя каждую маленькую дырочку или скважину, — в конце концов умудряются в лице того или иного отважного пионера забраться и под сетку, — и тогда уже не ждите пощады: пользуясь вашей полнейшей беззащитностью, один или два комара, прорвавшиеся сквозь густое сеточное ограждение на ваше горемычное лицо, искусают его в кровь, мучительно и беспощадно, и вам остаётся одно — спастись позорно в безумном паническом бегстве домой под назойливо-торжествующее преследование летучего воинства.

Комары (или москиты, как их называют западные путешественники) составляют настоящий бич этих мест и отравляют всю весну и лето, и без того краткие, так что едва прошла кошмарная зима, как начинаешь проклипать лето и вновь мысленно призывать зиму, как избавительницу от комариного царства... Причина их появления в таких бесчисленных legionах объясняется тем простым обстоятельством, что вся заполярная и приполярная область состоит из сплошных болот, топей и бесчисленных озёр; твёрдый грунт попадает лишь как редкое исключение в виде крошечных отрадных оазисов.

Но коренные местные жители как-то приспособливаются к комарам и в пределах городской черты даже часто появляются на улице без сеток и перчаток; помню, как однажды в разгар «комариного сезона» я встретил одного местного русского обывателя, который очень любил разговаривать со мною об иностранной политике.

Я в сетке и перчатках спешил домой, чтобы поскорее укрыться от наседавших на меня целых туч комаров, как вдруг сей любознательный мужчина попадает мне навстречу не только без сетки и перчаток, но и без головного убора, хотя был лыс, как бильярдный шар. Он останавливает меня «на ми-

нутку» и начинает спокойно, не торопясь, расспрашивать о здоровье моем и моих товарищей, нет ли новостей, и затем заводит нескончаемый разговор о Бисмарке, об его гениальных планах и коварных интригах, не обращая ни малейшего внимания на облепивших его физиономию и блестящую лысину многочисленных комаров, которых он невозмутимо и не спеша удаляет своею широкою ладонью, точно гладит себя по лицу и лысине; но целых два комара уже забрались под мою сетку и нестерпимо жалили меня в лицо, в губы, куда попало; когда я стал, так сказать, жаловаться ему на комаров, он спокойно возразил: «Это что! это ещё пустяки! а вот подождите, недельки через три появятся «стрелки», — вот это, действительно, настоящие комары!».

Но и этих было для меня слишком достаточно, и я поспешил расстаться с невозмутимым бисмарковцем и стремглав побежал домой. Недели через три, когда, действительно, появились предсказанные им «стрелки», я должен был согласиться с его оценкой: эта последняя разновидность комаров, не посылая никаких предупреждений или предостережений в виде противного комариного писка, бросается на вас как-то со всего размаху, целою тучею и притом с такой силою, точно кто-то выстрелил ими с большого расстояния из какой-нибудь пращи, и летят на вас без оглядки, не щадя своей жизни, куда попало, — в рот, в нос, в глаза, и жалят немилосердно, геройски, до последнего своего издыхания...

Такова летняя картина и летние прелести верхоянской природы... Но и дома, у себя в юрте, приходится принимать героические меры против нашествия комаров, которые облепляют все стены юрты снаружи сплошною массою, со зловещим жужжанием, толкая и давя друг друга в поисках какой-нибудь незаметной щёлочки, чтобы пробраться внутрь юрты: так как летом лёд тает, а стёкол здесь нет, то вместо них в окна вставляются также сетки из конского волоса, настолько густые, чтобы «комар носа не подточил».

Но никакие меры не могут вполне предохранить от энергии и кровожадной настойчивости комариного воинства, — то

один, то другой комар всё-таки умудряется пробраться внутрь и, глядишь, через короткое время их набралось уже несколько десятков, — весьма сравнительно немного, но вполне достаточно, чтобы не давать вам покою и не дать всю ночь спокойно уснуть; поэтому приходится разводить в юрте густой «дымокур» из навоза, который, правда, ест вам глаза и отравляет дыхание, но зато выкуривает комаров, приводя их в обморочное состояние; но чуть только дымокур редеет, они снова приходят в себя, давая знать характерным писком о своём воскресении.

Ещё более людей страдает от комаров скот, лошади и коровы; поэтому летом Верхоянск представляет собою сплошную картину огромных дымокуров, разводимых вокруг каждой юрты и каждого сарая и внутри каждого жилья, и в едком их дыму спасаются люди и животные от комариного, нашествия<sup>1</sup>... Находчивые якуты, учтя комариную кровожадность, даже изобрели особый вид смертной казни для своих преступных граждан в тех случаях, когда они расправляются с преступником самосудом: они отвозят самочинно приговорённого в топкую трясины, откуда ему невозможно выбраться, раздевают донага и оставляют в таком беспомощном виде на постепенное съедение комарам, — дёшево и сердито: мучительнее этой смерти, вероятно, не могли бы придумать никакие средневековые инквизиторы.

Наступил июль месяц; стояли очень жаркие дни; начиная с половины июня солнце вовсе не заходит ни на минуту в течение 40 суток: оно стоит над горизонтом круглые сутки; в течение июня и июля в двенадцать часов ночи оно находится, приблизительно, на такой же высоте над горизонтом, как в нашем климате часов в 6 вечера, а затем начинает вновь подыматься всё выше и выше.

Замечательно, что птицы не обращают на это никакого внимания: они перестают петь и засыпают на своих ветках аккуратно в то время, когда закатывается солнце в нашем климате, откуда они прилетели, т.-е. приблизительно часов в 8 вечера по нашему времени и спят часов до 5 утра, когда солнце восходит

---

<sup>1</sup> Ещё одно обстоятельство спасает от комаров — это ветер, так как на ветру они не могут летать и при малейшем ветре садятся на землю или на ветви деревьев и т.п.

по нашему времени и когда в Верхоянске солнце стоит уж очень высоко и жарит во всю, как у нас часов в 11 утра...

Как-то в середине июля к нам в юрту донеслись радостные крики: «почта пришла, почта пришла!» — весь город бросился бежать к Полицейскому Управлению, по направлению к которому скакала верхами «почта», состоявшая из двух всадников, — казака и якута-ямщика, восседавших на неуклюжих якутских лошадях, нагруженных каждая двумя перемётными сумками, в которых и хранилась корреспонденция; это было, действительно, радостное событие, которого мы ждали мучительно вот уже почти 5 месяцев.

Мы, ссыльные, столпились в передней Полицейского Управления в нетерпеливом ожидании, пока явились исправник Кочаровский и его помощник Ипатьев, приняли от казака почту, пересчитали полученные казённые деньги и выполнили все прочие формальности. Только после этого они, наконец, передают нам столь долгожданные письма и газеты.

Через час, оживлённые и радостные, как бы воскресшие из мёртвых, спешили мы домой с письмами и «свежими» газетами за целое полугодие и жадно набросились на те и другие; через несколько минут кто-то из нас, быстро просматривая газеты, начиная с самых последних номеров, воскликнул в необычайном волнении: «Взрыв в Зимнем Дворце!».

Это было официальное газетное извещение о происшедшем 5 февраля 1880 года знаменитом взрыве в Зимнем Дворце с целью убийства Александра II. Как известно, покушение это не удалось только потому, что случайно Александр II запоздал в ожидании какого-то коронованного гостя и поэтому не попал в назначенное время в парадную столовую, под которой был заложен террористом-рабочим Степаном Халтуриным трёхпудовый заряд динамита; взрыв был настолько силен, что было убито 10 человек и ранено 58. Это событие в связи с тем, что виновник взрыва искусно ускользнул из жандармских лап, сильно подняло наш дух, так как доказывало воочию, что, несмотря на военное положение, на котором находилась почти вся Европейская Россия, несмотря на беспощадные смертные казни и на

массовые ссылки, революционная партия не только не складывает оружия, не только не слабеет, но, наоборот, крепнет всё более и более. Для нас было ясно, что революционный террор будет расти и должен закончиться убийством Александра II, так как нам тогда казалось, что именно он главный виновник всего режима, основанного на рабстве и угнетении всего народа как в экономическом, так и в политическом отношениях.

Борьба с самодержавием принимала острый драматический характер; победа народная казалась столь близкой, сердце так и рвалось в бой, а мы осуждены были сидеть сложа руки в этом ненавистном Верхоянске, снедаемые мрачной тоской и бессильным отчаянием...

На взрыв в Зимнем Дворце правительство ответило небывало чрезвычайной мерой: учреждена Верховная Распорядительная Комиссия с диктаторскими полномочиями, а диктатором назначен генерал граф Лорис-Меликов, сулящий, однако, реформы и возвещающий новую эру, — «диктатуру сердца»...

Опять потекли однообразные, унылые дни, становившиеся всё короче; наступил август, днём было ещё жарко, но по ночам и по утрам начались порядочные заморозки, вследствие чего комары исчезли и можно было свободно гулять по окрестностям и дышать свежим воздухом, запасая силы на зиму.

Некоторые из нас, например, Серошевский и Царевский, развлекались охотой на пернатую дичь, — уток, гусей, рябчиков, куропаток, тетеревов, в обилии выводящих своих птенцов по многочисленным озёрам и болотам; август здесь самое лучшее время года. Я знал по книгам и по рассказам товарищей и местных жителей, что зима на этом крайнем севере наступает очень быстро, несравненно быстрее, чем в Европейской России, но в августе совсем ещё не чувствовалось её приближение.

Я помню как сейчас: было 31-е августа, стоял чудный жаркий день, сменившийся таким тёплым вечером, что я гулял в одном чесучовом пиджачке, без пальто; придя домой, лёг спать часов в 11 вечера; когда я проснулся утром, я не поверил своим глазам: всё было покрыто глубоким снегом, бушевала метель и стоял сильный мороз, это пришла «сама волшебница зима», пришла в

один момент, как бы по щучьему велению, пришла окончательно и бесповоротно, („всерьёз и надолго", — на целые восемь месяцев). Больше уже не было ни послабления, ни оттепели, — конец краткому, неприветливому лету, и снова бесконечная зима, с бесконечными ночами и с 60-градусными морозами. Для меня это была первая зима в верхоянской ссылке, так как я ведь приехал в Верхоянск к концу зимы и не испытал ещё полностью всех её прелестей. Когда с середины ноября в последний раз закатилось солнце, чтобы вновь взойти только 2 января, и наступили 60-градусные морозы, я поставил себе за правило гулять ежедневно, чтобы закаляться и поддерживать свое здоровье. Одевшись во всё меховое и спрятавши в башлык всё лицо и нос, оставив только маленькую щёлочку, чтобы не задохнуться, я всё-таки мог гулять не более 5 минут, — так свиреп был мороз, леденивший организм до мозга костей, несмотря на все меха и несмотря на то, что, к счастью, в эти морозы не бывало ни малейшего дуновения ветерка. Достаточно сказать, что если в это время плюнуть, то на землю вместо слюны падает твёрдый шарик... Казалось, сама матушка сыра-земля не может выдерживать эти лютые морозы и громко выражает свой протест: по вечерам и ночам раздавались точно пушечные выстрелы, — то гулко трескалась земля, сжимаемая чудовищным морозом, и как бы охая от нестерпимой боли...

#### **4. Первый побег.**

В ноябре пришла почта, и из газет мы узнали, что Лорис-Меликов, развивая свою политику «диктатуры сердца», направляет «диктатуру» против революционеров, а «сердце» — в сторону либеральной буржуазии, заигрывая с последней и с её прессой и суля какие-то туманные реформы.

Между прочим, он пришёл к заключению, что министерство внутренних дел в лице своего знаменитого III Отделения, а также генерал-губернаторы слишком злоупотребляли своею безграничной властью и в частности правам административной



ссылки, упразднил вовсе III Отделение, заменив его департаментом государственной полиции и учредил комиссию для пересмотра списка административно-ссылных и для выработки особого положения об административной ссылке.

Но мы чувствовали и верили, что не в этих жалких потугах «хитрого армяшки» (как Лорис-Меликов сам себя называл) надуть как-нибудь общество ничтожными уступками и поблажками сосредоточился жизненный нерв эпохи, а где-то в таинственной глубине, где зреют и разрабатываются какие-то новые планы неуловимым Исполнительным Комитетом партии Народной Воли.

Мы ясно видели, что идёт титаническое единоборство самодержавия с Исполнительным Комитетом не на жизнь, а на смерть, до последнего издыхания и что ближайшей ставкой объявлена жизнь Александра II. И в этот захватывающий исторический момент мы, полные сил и энергии, должны гнить «в бездействии пустом» в этой проклятой пустыне?!

Мысль о побеге неотступно преследовала нас и служила темой наших нескончаемых разговоров и самых тщательных обсуждений; но побег из Верхоянска представлял необычайные трудности; бежать по единственному тракту, идущему из Верхоянска в Якутск, было абсолютно невозможно, так как путь очень длинен, каждый русский здесь на примете, и погоня нас несомненно настигнет в самом начале пути. Других путей и дорог нет, кругом непроходимая лесная тайга, безлюдные непроходимые горы и ущелья, пустыни, по которым ещё не ступала нога человеческая, и если бежать, то можно только через эти леса и пустыни, без дороги, по компасу; откуда-то мы достали географическую карту Сибири и стали тщательно её изучать, чтобы избрать кратчайший путь через эти пустыни к Якутску и дальше, потому что в полной безопасности мы могли бы считать себя лишь добравшись до такого крупного сравнительно центра, как Иркутск; но именно эти пустынные места, обнимающие чуть ли не всю северо-восточную Сибирь, очень мало исследованы в географической науке, так что географическая

карта начертана большею частью наобум, и является очень плохим и ненадёжным путеводителем.

Но другого выбора не было. Бежать решили трое: Царевский, Серошевский и я; остальные товарищи считали этот способ побега не только в высшей степени рискованным, но просто неосуществимым. Ведь мы наметили себе путь сквозь тайгу и горы, так сказать, напролом, вдали от существующей единственной дороги, — будь что будет, погибать — так погибать, а дольше так жить невозможно! Бежать мы решили будущим летом, а зимою разработать детальный план и заготовить всё необходимое для побега...

Царевский, убеждённый революционер, бывший студент, попавший в Верхоянск за побег в 1878 году из Вологодской губернии, куда он был выслан административно в 1877 году за революционную пропаганду, был очень высокий, тонкий, смуглый молодой человек, лет 27, с цыганским типом лица, чёрной бородкой и длинными вьющимися волосами, с чахоточной грудью, раздражительный, но чрезвычайно выносливый, энергичный и жизнерадостный, занимался в Верхоянске всевозможными поделками: и по плотницкой части, и по слесарной части, починкой самоваров, ружей и т.п., весело распевая за работой по целым часам разные песни до фривольных включительно.

Серошевский в отношении наружности представлял прямую противоположность Царевскому: красивый, юный блондин, лет 20 с небольшим, с едва пробивающимися усиками и бородкой, краснощёкий, низенький, толстенький, ловкий и сильный, рабочий металлист из Варшавы, где он участвовал в революционных социалистических кружках, был арестован в 1878 году и вместе с другими товарищами по кружку, рабочими и интеллигентами, сидел в предварительном заключении в знаменитой Варшавской цитадели.

Случилось, что один из товарищей по заключению, взобравшись на высокий подоконник своей мрачной одиночки, стал выглядывать в окно, чтобы хотя из-за решётки полюбоваться светлым небом и подышать чистым воздухом; но это было запрещено, и часовой, даже не предупредивши, выстрелил в него

и убил наповал; возмущённые таким зверским убийством, все политические заключённые, в том числе и Серошевский, подняли шумный протест, стуча в двери и требуя прокурора для составления протокола. Но взамен этого в камеры стали врываться вооружённые солдаты под предводительством тюремных надзирателей и зверски, до полусмерти, избивать заключённых ружейными прикладами, сапожищами, чем попало.

Слыша крики избиваемых товарищей в соседней камере, Серошевский забаррикадировался в своей камере находившимися в ней кроватью, столом и табуреткой, вооружившись ножкой от стола, и когда к нему ворвались солдаты и надзиратели с целью избиения, стал защищаться с помощью этой ножки, но, конечно, сопротивление его было моментально сломлено, его повалили на пол, избили до полусмерти, связали, заковали в ножные и ручные кандалы и в таком виде, избитого и окровавленного, повлекли и бросили в тёмный карцер; а затем... предали военному суду за «вооружённое сопротивление и нападение на военный караул» и приговорили к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдалённые места Восточной Сибири...

Решившись на побег, мы сразу как-то ожили и с помощью остальных товарищей принялись за необходимые приготовления. Прежде всего необходимо было приобрести тайным образом лошадь для перевозки необходимого запаса провизии, одежды и прочих вещей; если бы администрация узнала, что мы приобрели лошадь, это сразу возбудило бы сильнейшее подозрение. Мы поэтому решили купить лошадь через какого-нибудь надёжного подставного человека, и в Верхоянске нашёлся вполне подходящий для этого во всех отношениях человек в лице ссыльного поляка пана Яна, который за участие в польском восстании 1863 года был сослан в сибирские рудники, а по отбытии каторги — на поселение в Верхоянск, где жил уже около 20 лет, приспособился, женился на якутке, но, несмотря на свои 50 лет, сохранил юношескую живость и энергию, хотя глубоко тосковал по родной своей Польше.

Это был честнейший человек, необычайно добрый и сердечный; он был из простых крестьян, малограмотный, но развитой и, так сказать, культурный; появление политических ссыльных в этой пустыне, где в течение 20 лет он жил один среди полудиких якутов и объякутившихся русских, — появление этой революционной молодёжи, боровшейся с столь ненавистным и ему самодержавием за свободу и благо народа, было для пана Яна как бы светлым лучом в тёмном царстве. Бедняга привязался к нам всею душою, искал в нашей среде забвения от грызшей его тоски, с жадностью слушал наши беседы, рассказы и страстные споры, сочувствовал и сострадал нам; этот маленький, коренастый старичок, с широкими щетинистыми усами, с огромной лысиной, с живыми голубыми глазами, с польскими акцентом, подвижный, как ртуть, привязался к нам всею душою и полюбил нас, как родной отец любит своих детей.

Для нас он готов был всё сделать, особенно, если этим можно было хоть как-нибудь насолить правительству; будучи страстным охотником, он чтобы лишний раз посидеть и поболтать с нами по душе, часто забрасывал свою охоту, к великому неудовольствию своей любимой охотничьей собаки...

Ему-то мы и сообщили про наше намерение бежать и просили купить для нас по весне лошадь и держать её у себя до побега; пан Ян отнёсся к нашему плану побега крайне неодобрительно, считая его неосуществимым, безрассудным и прямо погибельным, но видя, что нас не переубедишь, согласился исполнить нашу просьбу. Затем мы начали запасать достаточное количество провизии, в виде, главным образом, ржаных сухарей. Серошевский и Царевский изготовили рогатину на случай встречи с медведем, большой охотничий нож, привели в порядок два охотничьих ружья, приобрели допотопный револьвер и т.д.

Среди этих приготовлений, к нам докатилось, наконец, слабое эхо пресловутой Лорис-Меликовской «диктатуры сердца»: пришло распоряжение об освобождении из ссылки нашего милого юноши Владимира Бать, чему мы были бесконечно рады; его же радость отравлялась, видимо, тяжёлым чувством разлуки с нами. Уезжая на волю из этих гиблых мест и расставаясь

с нами, он оставлял нас задыхаться здесь, гнить и гаснуть в то время, как сам едет на новую вольную жизнь; и мы, с своей стороны, испытывали какое-то волнующее чувство искренней радости и невыносимо-ноющей, щемящей тоски; мы радовались за него, за его молодую жизнь, а с другой стороны, его отъезд ещё более подчёркивал наше безотрадное положение: подобные чувства обуревают тюремного узника, когда выпускают на волю его товарища по камере, а сам он остаётся в тюрьме и не знает, выпустят ли его когда-нибудь или же суждено ему так и окончить свои дни в мрачной тюрьме...

18 марта кто-то вбежал к нам в юрту с сенсационной новостью: к Полицейскому Управлению скачет нарочный — казак из Якутска, лошадь вся взмылена, — должно быть везёт важные новости; наскоро одевшись во всё тёплое, мы выбежали на улицу, где услышали взволнованные крики якутов: «рахта эль-битерер!» (царя убили!).

Как известно, убийство Александра II произошло 1 марта; об этом было передано по телеграфу в Иркутск, оттуда нарочный в Якутск, а из Якутска был немедленно отправлен 12 марта верхом нарочный с соответственным распоряжением и уведомлением о восшествии на престол Александра III. Нарочный, как бы в сознании всей важности потрясающего известия, скакал из Якутска день и ночь, нигде не останавливаясь и, наконец, 18 марта прискакал...

Когда мы, запыхавшись, вошли в Полицейское Управление, Кочаровский и его помощник посмотрели на нас с видимым смущением, — им было как-то неловко, не по себе, а мы с трудом сдерживали проявление овладевшей нами бурной радости и торжества: великий, величайший, давно жданный — акт исторической Немезиды<sup>1</sup> свершился, наконец Александр II получил должное возмездие за все кровавые расправы и злодеяния своих опричников и сатрапов. Мученики и борцы революции отомщены, путь для свободы расчищен, дело революции восторжествует...

---

<sup>1</sup> Богиня правосудия и справедливости.

Разобрав быстро привезённую нарочным корреспонденцию и приняв торжественно грустный вид, Кочаровский сообщил нам официальным тоном, что «государь-император Александр II волею божией скончался» и предложил нам явиться завтра в Полицейское Управление «принести присягу на верность подданства государю императору Александру III».

Выслушав молча это официальное сообщение, мы поспешили домой, где могли свободно проявить свой бурный восторг и светлую радость, которыми трепетало всё наше существо. Какой величайший исторический момент, какое торжество революции! И нам смеют предлагать принести «всеподданническую» присягу Александру III! Началось горячее обсуждение вопроса: присягать или не присягать? Некоторые доказывали, что присяга — простая формальность, что отказ от присяги повлечёт репрессивные меры, которые ещё более ухудшат наше положение и что поэтому следует присягать. Я и другие возражали, что было бы позорным малодушием с нашей стороны уступить давлению администрации, что нам следует демонстративно отказаться от присяги в знак сильного протеста против существующего строя и что странно и смешно было бы с нашей стороны присягать тому самому правительству, которое заживо похоронило нас в этой пустыне.

Я предложил следующий мотивированный отказ от присяги: «не желаем присягать деспотической монархии», и заявил категорически, что как бы ни поступали в данном случае товарищи, я, лично, откажусь дать присягу и буду мотивировать отказ таким образом; не помню сейчас, кто именно присоединился к моему отказу — кажется почти все, но помню, что некоторые из товарищей всё-таки принесли присягу, считая, что это пустая, ни к чему необязывающая формальность, из-за которой не стоило ухудшать своё положение... Замечательно, что пан Ян, хотя и не принадлежал к числу революционеров и сильно рисковал лишиться места, которое он занимал в качестве сторожа в убогой Верхоянской больничке, по собственной инициативе ещё раньше нас отказался от присяги, даже не посоветовавшись с

нами, — сделал это просто, прямо и решительно, без колебаний и без разговоров...

В начале мая наступила, наконец, столь долгожданная весна, вскрылась Яна и все её притоки, широко разлившись и затопивши все окрестности; вскрылись озера и болота, дороги сделались непроходимыми, наступила полная весенняя распутица; только в конце мая всё вошло в норму, и мы, беглецы, решили двинуться в путь.

С вечера мы трое трогательно и сердечно простились с остающимися товарищами, и на рассвете уже были за городом, с величайшими усилиями пробираясь дальше сквозь густую чащу первобытного дикого леса; Царевский вед под уздцы нашу тяжело-навьюченную лошадь, а Серошевский и я шли сзади. В лесу не было ни одной тропинки, так что приходилось, так сказать, протискиваться вместе с лошадью через кусты и узкие промежутки деревьев, поминутно останавливаясь, чтобы подрубать толстые сучья и ветви, заграждавшие дорогу, перепрыгивать через рытвины, ручейки, через валежники, спускаться на дно оврагов и карабкаться вверх. Неудивительно, что через каждые двадцать-тридцать сажен вьюки теряли своё равновесие и сползали с лошади на землю, и приходилось подолгу останавливаться, чтобы вновь аккуратно их перевязать и нагрузить равномерно на спину терпеливой лошади; а во всё это время тучи комаров неотступно преследовали нас, жаля немилосердно сквозь наши сетки и перчатки и доводя чуть не до бешенства несчастную беззащитную лошадь. С такими-то мучениями, но полные юношеской отваги и непоколебимой решимости подвигались мы вперёд с истинно черепашьей скоростью, с компасом в руках, стараясь держать путь на юг. За весь длинный мучительный день прошли не более двух вёрст, и к вечеру, окончательно выбившись из сил, измученные и голодные, расположились на ночлег в дикой лесной чаще, среди небольшой поляны, устланной толстым слоем мха и поросшей кустами высокого папоротника. Развели костёр, набрали в чайник воды из мутного лесного ручейка и, заварив кирпичный чай, стали подкреплять скромным ужином свои ослабевшие силы. Было как-

то особенно радостно и, вместе с тем, жутко сидеть в этом ди-  
ком, тёмном лесу, слегка освещаемом отблесками угасающего  
костра; мы чувствовали себя радостно, подобно вырвавшимся  
на волю тюремным узникам, но в то же время окружающая  
мрачная и дикая лесная тайга действовала как-то угнетающе,  
вселяя невольную тревогу... Заговорили о возможности встречи  
с медведем; на всякий случай решили дежурить по очереди и  
поддерживать всю ночь огонь костра, так как ни один дикий  
зверь, даже сам Топтыгин, не смеет приближаться к огню, питая  
к этому великому дару природы какой-то священный ужас.

Легли спать не раздеваясь, но, несмотря на сильнейшее утом-  
ление от всех мытарств дневного странствия, не могли как сле-  
дует уснуть... Вдруг послышался вдали гулкий треск ломаю-  
щихся сучьев и зловещее рычанье, — то была несомненная, ха-  
рактерная поступь Топтыгина и указывало на близость медве-  
жьей берлоги; моментально вскочили мы все на ноги и, держа  
наготове ружья, рогатину, нож и топор, со страхом и волнением  
стали ждать приближения зверя; но, к счастью, шаги его скоро  
затихли в отдалении, и мрачная тайга снова погрузилась в  
прежнюю зловещую тишину; скоро, в конец измученные, мы за-  
снули крепким сном. А на утро двинулись дальше; лес стано-  
вился всё гуще; приходилось чуть не каждый шаг брать с бою,  
срубая не только толстые ветви и сучья, но и целые деревья,  
чтобы хоть немного разредить чащу и с величайшим трудом  
пробиравшись через неё с навьюченной лошадью. Вьюки, зацеп-  
ляясь за деревья и за густые колючие кустарники, поминутно  
сползали с лошади и каждый раз приходилось вновь приводить  
их в порядок и вновь аккуратно навьючивать, чтобы было пол-  
ное равновесие клади по обоим бокам лошади.

Неудивительно, что при таких условиях мы за весь второй  
день прошли не более одной версты, да и то не по прямому  
направлению на юг, а приходилось делать зигзаги в разные сто-  
роны «по линии наименьшего сопротивления», т.-е. проби-  
раться там, где чаща была не так густа и позволяла пробираться  
с навьюченной лошадью. При этом ноги вязли в мшистой  
почве» пересекаемой часто кочковатыми болотцами, лесными



ручьями, а также широкими и глубокими оврагами, по которым приходилось спускаться вниз и карабкаться вверх. На третий и четвёртый день мы продвигались с ещё большими затруднениями и с ещё меньшей скоростью; силы наши слабели, но мы продолжали энергично работать топором и руками, прочищая себе путь чрез девственную чащу на юг, в ту туманную даль, где нас ждали свобода и родина... На 5-й день, к величайшей нашей радости, лес стал постепенно редеть, и к вечеру мы увидели пред собою красивые луговые пространства и белеющую ленту какой-то реки; но... радость наша скоро сменилась леденящим ужасом: невдалеке мы увидели церковь и разбросанные юрты проклятого Верхоянска, а белеющая лента оказалась рекой Яной!.. Итак, целых 5 дней мы, употребляя нечеловеческие усилия и терпя ужаснейшие страдания, топтались в сущности вокруг одного места, почти не удалившись от Верхоянска. Нам стало ясно, что при таком способе путешествия мы, во всяком случае, в течение краткого полярного лета, не доберёмся даже до параллели Якутска, а стало быть нам придётся погибнуть в тайге от холода или голода или, вернее, от того и другого вместе. Побег становился абсолютно безнадёжным, невозможным... И с тяжёлым сердцем и горьким сознанием своего бессилия, разочарованные и пристыженные, мы на другой день ночью вернулись в ещё более опостылевший Верхоянск, потеряв уже всякую надежду на какую-либо возможность побега, — последняя наша ставка была бита... К счастью, верхоянская администрация, благодаря стараниям оставшихся товарищей, не заметила нашего непродолжительного отсутствия, и попытка побега не повлекла для нас никаких печальных последствий. Лошадь мы, конечно, сейчас же продали.

Опять потекли тоскливые, бесконечные дни краткого лета с его комарами, ещё более краткой осени, доставлявшей большое наслаждение нашим охотникам (Серошевскому, Царевскому, пану Яну), и бесконечные полярные ночи, с их леденящими сверх-морозами. волшебными северными сияниями, заунывным лаем бесчисленных собак, чующих приближение волков, и мёртвою тоскою всеми забытой, заброшенной пустыни...

Как-то раз, в один из этих бесконечных зимних вечеров Серошевский прочёл нам написанный им небольшой рассказ; не помню уже его содержания, но он был написан живо и интересно, и мы были поражены его прекрасным литературным стилем. Тем не менее, мы никак не ожидали (и, вероятно, сам Серошевский также), что из него, простого рабочего, самоучки в области образования и литературы, выработается вскоре такой талантливый и плодовитый художник, — выдающийся литератор, беллетрист и бытописатель Якутского края, его своеобразной, порой величественной природы, его незатейливых, полудиких обитателей. Когда вы читаете разбросанные в его многочисленных произведениях описания величественных гор, огромных озёр, горных потоков, бесконечных рек, дремучей тайги, местных нравов и преданий, вы поражаетесь сочностью, образностью, красотой его кисти и художественной шлифовки его стиля, кажущегося столь простым и естественным... Основательному знакомству этого талантливого рабочего-кузнеца с обычаями, нравами и бытом якутов помогло, вероятно, то обстоятельство, что он вскоре женился на молодой якутке, сравнительно не безобразной, очень неглупой и хитрой, взявшей этого юного богатыря сразу под свой башмак и вертевшей им по своему желанию. Она была большой, так сказать, патриоткой своего племени и хотя отлично понимала и недурно говорила с нами по-русски, но с Серошевским упорно отказывалась употреблять русский язык и отвечала ему только тогда, когда он говорил с ней по-якутски. Этим верным способом она выучила его за одну зиму свободно понимать и изъясняться по-якутски и дала ему прекрасный ключ к изучению якутского народа, его эпоса и его быта. Серошевский прижил с ней нескольких детей и, как я слышал, он, по возвращении лет через пять в Россию, захватил с собой и свою бедовую якутку и детей...

## **5. Американский план морского побега.**

Если, вообще, персонал уездной администрации царского правительства не отличался особенными добродетелями, то

нравственный и умственный уровень сибирской администрации, а тем более таких заброшенных трущоб, как отдалённые места Восточной Сибири, был ниже всякой критики. В Сибирь вообще назначали всякий чиновничий брак, — из проворовавшихся и спившихся с кругу чиновников, взяточников и казнокрадов, и чем дальше был край от центра, тем низкопробнее были переводимые туда за разные провинности чиновники.

Однако, в виде вознаграждения получали они за службу в далёкой глухой Сибири двойные прогоны, двойные и тройные оклады и ускоренное чинопроизводство; коренные сибиряки прозвали очень метко всех присылаемых сибирских чиновников «навозным» (вместо «привозным») элементом. К числу таких «навозных» администраторов принадлежал и наш великолепный исправник Кочаровский, человек недалёкий и даже довольно глупый, но с большим самомнением, с большой дозой самовлюблённости и изрядный трус; служил он правительству не за страх, но и не за совесть, а исключительно за деньги и чины; очень мало развитой, ещё менее образованный, любивший здорово выпивать, хотя и не алкоголик, и большой любитель женского пола. Два раза в год он под предлогом «ревизии» объезжал некоторые более населённые пункты своего необъятного округа, собирая взятки, именуемые подарками, усиленно пьянствуя с угощавшими его более зажиточными, почётными якутами и русскими и «портя девок», как он любил откровенно-цинично выражаться.

К политическим ссыльным Кочаровский относился сносно, не придирался и не притеснял, питая к ним невольное уважение и непреодолимую робость, боясь, как бы они не учинили какую-нибудь антиправительственную выходку или побег, и тем не повредили бы его карьере и не подвели бы под служебную неприятность. Поэтому он дипломатично старался поддерживать с нами дружески вежливые отношения, не переходящие, однако же, в благонамеренную близость, оставаясь в пределах официальных сношений, — к себе, например, никогда на дом нас не приглашал (да мы бы и не пошли, конечно), и ни у кого из нас не бывал. Исключение в этом отношении он делал только для

доктора Белого, который с своей стороны старался поддерживать с ним и с администрацией дружеские отношения, чтобы не лишиться возможности работать в качестве врача в местной больничке, и нередко бывал в гостях у Кочаровского и у его помощника — Ипатьева.

Как-то так случилось, по соглашению всех товарищей, что для «внешних сношений» с администрацией они выбрали меня. В половине ноября к нам в юрту явился казак и от имени Кочаровского просил меня явиться к нему на дом немедленно по важному делу; мы не на шутку встревожились, теряясь в догадках о причинах небывалого приглашения и опасаясь, не раскрыто ли наше злополучное летнее покушение на побег. Я быстро оделся и перешёл на противоположную сторону замёрзшего озера, отделявшего нашу юрту от дома исправника; Кочаровский принял меня очень любезно, пригласил в гостиную и после предварительных приветствий, вопросов о здоровье и житье-бытье моём и моих товарищей, сообщил следующее: он только что получил с нарочным донесение с крайнего севера своего беспредельного округа, а именно из полярного посёлка Булун, расположенного на берегу одного из многочисленных истоков реки Лены, верстах в 200 от берега Ледовитого океана и в 900 от Верхоянска. Тамошний казачий командир доносил, что там появились какие-то неведомые чужестранцы, говорящие на непонятном языке, выдающие себя за американцев, не понимающие ни по-русски, ни по-якутски, и командир спрашивает, как поступить с ними? При этом Кочаровский заключил: «Я думаю, что это какие-нибудь контрабандисты, и хочу послать немедленно приказ арестовать их и привезти в Верхоянск. Вот об этом-то я и хотел посоветоваться с вами, — как вы думаете на этот счёт?». Как ни глуп был Кочаровский, но подобной глупости я даже от него не ожидал. «Какие могут быть контрабандисты в этих гиблых пустынях? — возразил я, — как туда добраться чрез Ледовитый океан и с кем торговать? Скорей всего, это участники какой-нибудь полярной экспедиции, спасшейся от крушения; я, например, недавно читал в газетах об одной немецкой полярной экспедиции, пропавшей без вести года два

тому назад и на поиски которой недавно послана в Ледовитый океан особая спасательная экспедиция, при чем в газетах было объявлено распоряжение русского правительства всем губернаторам и исправникам оказывать всякое содействие участникам обеих экспедиций, если таковые волею судеб очутились бы в северных пределах нашего государства. Я вам советую послать немедленно с нарочным командиру приказ оказать этим иностранцам самую широкую помощь и гостеприимство, а также передать им письмо от вас, прося их сообщить вам, кто они, откуда, в чём нуждаются и т.п.».

Кочаровский пришёл в сильное волнение и замешательство; видя его колебания и нерешительность, я стал горячо убеждать его последовать моему совету: «Если вы арестуете их, то могут последовать международные осложнения, вы рискуете слететь с места; а если окажете помощь и содействие, вы получите награду и повышение». В конце концов он согласился с моими доводами, и мы с ним стали обсуждать, как лучше это сделать; он решил послать туда своего помощника Ипатьева, очень умного, хитрого и ловкого человека. Снабдили его между прочим целым ящиком медикаментов, экстренно выбранных и изготовленных доктором Белым, и любезным письмом от себя на имя таинственных иностранцев, которые я на всякий случай написал на трёх языках: английском, французском и немецком и в котором заключались упомянутые вопросы и обещание оказать всяческое содействие. В тот же день Ипатьев выехал в Булун; а дня через три после этого Кочаровский прислал за мною свои сани с кучером, прося немедленно быть у него, и когда я явился, он сообщил мне, что только что прибыл нарочный из Булуна и привёз какой-то пакет с адресом на каком-то иностранном языке, в котором находились бумаги тоже на иностранном языке, которые он и просил меня перевести на русский. Едва я взглянул на длинное послание, заключавшееся в пакете, я с трудом мог сдержать необычайно радостное волнение, охватившее всё моё существо, — точно ослепительный сноп света ворвался в мрачную камеру узника... Послание на английском языке было адресовано в Петербург американскому посланнику и гласило, что

американская полярная экспедиция, отправившаяся к Северному полюсу на пароходе «Жаннетта», потерпела крушение 12 июня 1881 года во льдах Северного Ледовитого океана в расстоянии 750 вёрст от берегов Сибири, против устьев реки Лены. Её экипаж в количестве 33 человек спасся после крушения на трёх лодках, которые направились к устьям реки Лены, но недалеко от сибирских берегов разразилась страшная буря, которая разбросала лодки в разные стороны, и они потеряли друг друга из вида; той лодке, в которой находился инженер-майор Мельвилль с 18 матросами, удалось высадиться в одном из бесчисленных рукавов дельты реки Лены.

О судьбе остальных двух лодок ничего не известно, но, по-видимому, одна под командой лейтенанта Чиппа с матросами потонула в океане во время этой бури. Наконец третьей лодке под командой самого командира «Жаннетты» капитана Де-Лонга с матросами посчастливилось, по-видимому, достичь берегов Сибири где-нибудь возле устьев реки Лены, но отыскать их следы пока не удалось, и он, Мельвилль, употребит все усилия найти капитана Де-Лонга с товарищами и спасти их.

В заключение Мельвилль просил выслать телеграфно деньги на поиски товарищей и просить русское правительство оказать всяческое содействие через местные власти. Такая же телеграмма была адресована на имя морского министра Соединённых Штатов. Прочтя эти потрясающие телеграммы, я перевёл их Кочаровскому и добавил торжествующе: «Вот видите, как я был прав и как правильно вы поступили, послав туда Ипатьева для оказания помощи; хороши бы вы были, если бы приказали арестовать их!».

Кочаровский самодовольно рассмеялся и сконфуженно возразил, что это он так, «пошутил». Немедленно он снарядил нарочного в Якутск отвезти губернатору эти телеграммы, а из Якутска был послан с ними также нарочный к генерал-губернатору в Иркутск, откуда уже начиналось телеграфное сообщение с цивилизованным миром.

Кочаровский попросил меня, пока нарочный готовился в путь-дорогу, сделать письменный перевод этой телеграммы на

русский язык, чтобы он у него остался при делах, и, по моей просьбе, дал их мне для этого на дом на два часа; удивление и восторг моих товарищей не поддаётся никакому описанию; у нас моментально возник смелый и грандиозный план морского побега с помощью американцев вдоль берегов Ледовитого океана через Берингов пролив в Америку; в самом деле, рассуждали мы, если американцам удалось проплыть в лодке через океан в страшную бурю 750 вёрст и пристать к берегам Сибири, почему мы бы не смогли проплыть вдоль этих берегов какие-нибудь тысячи три вёрст до Америки?..

Какое колоссальное значение для человечества имеет наука, применение которой в технике и жизни является главным рычагом человеческой культуры!

Ленин, указавший великое значение электрификации в деле социалистического строительства, доказал этим самым и практическую пользу так называемой чистой науки: ведь когда учёный Гальвани делал какие-то, казалось бы, ни к чему ненужные опыты над лягушечьими ножками, никому тогда не приходило в голову, что эти опыты приведут к открытию знаменитого «гальванического» электрического тока и электрической энергии и к тем поразительным и разнообразным применениям её ко благу человечества, которые определяются всеобъемлющим словом «электрификация». К таким бескорыстным и беззаветным жрецам науки принадлежат и отважные исследователи таинственного Северного полюса, манящего к себе пионеров науки, из которых многие поплатились уже жизнью... И вот, по случайному совпадению судьбы, в то самое почти время, когда предо мною, давно забросившим, также во имя блага человечества, всякую науку и отдавшим все свои силы на революционную борьбу со старым социально-политическим строем, открывались двери мрачной одесской тюрьмы для следования в далёкий заполярный Верхоянск, — в это самое время из Американского порта Сан-Франциско 8 июля 1879 года отплыла на пароходе «Жаннетта» научная экспедиция для исследования неизвестных тайн Северного полюса, под командой капитана Де-

Лонга, и через два года мне суждено было встретиться в Верхоянске с уцелевшими героями этой трагической экспедиции... Но не буду забегать вперёд.

Это было 6 декабря 1881 года, около 7 часов вечера; Кочаровский вновь прислал за мной свои сани, и по дороге я узнал от его кучера, что в Верхоянск приехали какие-то американцы. Когда я, с сильно бьющимся сердцем, вошёл в гостиную, то увидел стоящего среди комнаты Кочаровского и рядом с ним довольно высокого, крепко сложенного блондина с окладистой светло-рыжей бородой, правильными чертами умного и выразительного лица, с огромной лысиной и большими голубыми глазами, серьёзно и внимательно глядевшими вокруг; выражение лица было измождённое, озабоченное и грустное. Кочаровский представил нас друг другу, назвав мне просто фамилию — инженер Мельвилль, а ему — мою фамилию: мы крепко пожали друг другу руки, и я заговорил с ним по-английски...

Передо мной сейчас лежит в высшей степени интересная, объёмистая книга его, изданная в Нью-Йорке, почти в 500 страниц, с интересными иллюстрациями, под скромным заглавием «В устьях Лены»<sup>1</sup>, присланная им мне в ссылку сорок лет тому назад. Чтобы книга эта, содержащая притом много резких страниц против царского режима, прошла ко мне через тогдашние таможни и цензурные барьеры, Мельвилль придумал послать её не на моё имя, а непосредственно на имя Якутского губернатора генерала Черняева, причём в отдельном письме просил «его превосходительство» не отказать переслать её «вверенному вашему превосходительству политическому ссыльному С.Е. Лиону», вместе с письмом на моё имя.

Расчёт Мельвилля был правильный: Черняев, с одной стороны, не решится отказать «знакомому иностранцу» в столь скромной просьбе, да и стыдно было бы «пред Европой» демонстрировать своё варварство, а с другой стороны, Черняев должен был подумать, что если бы в книге было что-нибудь анти-

---

<sup>1</sup> G.Melville, "In the Lena Delta", The Riverside Press, Cambridge, 1896. — прим. OCR.



правительственное, то едва ли Мельвилль решился бы направить её прямо, так сказать, «льву в пасть», и в результате — книга и письмо в неприкосновенности дошли ко мне, причём на обложке книги сделана следующая собственноручная надпись Мельвилля по-английски:

*С. Лиону, эсквайру.*

*Первому человеку, который заговорил по-английски с автором после многих месяцев отсутствия его с родины и который был его „переводчиком“ в далёкой Сибири.*

*Сожалея о печальной жизни своего друга в Сибири, он остаётся преданный:*

*Джордж Мельвилль*

*Главный инженер флота Соединённых Штатов, Автор.*

Книга эта по цензурным условиям в своё время не могла, конечно, быть издана в русском переводе, а в настоящее время составляет библиографическую редкость. Цитирую из неё описание только что рассказанной моей первой встречи с Мельвиллем в гостиной Кочаровского: «Немедленно после моего прибытия (в Верхоянск), исправник послал за м-ром Лионом, одним из политических ссыльных, чтобы он служил переводчиком между нами. М-р Лион явился и отрекомендовался мне тем лицом, которое по просьбе исправника написало мне письмо, когда я находился в устьях Лены; а теперь, служа переводчиком моих бесед с исправником, Лион умудрялся передавать мне краткие сведения о своей революционной деятельности, о своём аресте и ссылке. Исправник угостил нас обильным обедом из диких уток и другой дичи, запасы которой хранились в леднике Кочаровского круглый год, Лион сказал мне, что никогда раньше он не обедал у Кочаровского, хотя тот иногда вначале и приглашал его; объясняется это тем, что Лион был ярым нигилистом и не хотел брататься со своими тюремщиками.

Это был первый хороший обед с тех пор, как я покинул Сан-Франциско. За обедом пили вкусную брусничную наливку, коньяк и очень крепкую неочищенную водку. Беседа наша затянулась до трёх или четырёх часов ночи, потому что, само собою разумеется, мне пришлось рассказать историю «Жаннеты» во всех

её трагических подробностях... Когда, между прочим, я рассказывал о лёгкости, с которой я мог бы проплыть в нашей маленькой лодке берегом Сибири вплоть до Америки, то я видел, каким восторгом загорались глаза Лиона; этот юный изгнанник с жадностью ловил каждое моё слово, касавшееся моего описания той одежды и той провизии, которые необходимы для подобного рода путешествий, а лицо его озарялось надеждой и радостью, когда я развёртывал пред его сверкающими глазами чудное видение бегства из ненавистной ссылки.» (стр. 243-245).

Из рассказа Мельвилля потрясающее впечатление производило подробное описание гибели «Жаннетты» 12 июня 1881 года: затёртая уже в течение нескольких месяцев необозримыми полями ледяных масс, прикованная ими и увлекаемая вместе с ними на запад медленным течением Ледовитого океана, «Жаннетта» в этот день была особенно теснима ледяными

гигантами, сильно напиравшими на неё и грозившими ежеминутно раздавить её, как какую-нибудь яичную скорлупу. Вследствие этого, командир парохода капитан Де-Лонг отдал приказ экипажу покинуть «Жаннетту», забрав с собою для дальнейшего передвижения на юг к берегам Сибири шестеро саней и три лодки, из которых два небольших катера и третья лодка побольше, выстроенная на манер плоскодонной китоловной лодки.

Кроме того, они забрали с парохода шесть больших парусинных палаток, 12 ездовых собак, скудные запасы

оставшейся провизии, несколько охотничьих ружей и винтовок,



Рис. 2. 1. Матросы «Жаннетты» занимаются «физкультурой». 2. На часах в «вороньем гнезде». 3. Крушение «Жаннетты». 4. Охотничья команда «Жаннетты».

необходимые морские и астрономические приборы, компас и, как самое драгоценное, металлический ящик, содержащий описание, ведшееся изо дня в день, всех научных наблюдений, измерений и открытий, сделанных за двухгодичное плавание, вольное и невольное, «Жаннетты» по течению Северного Ледовитого океана... Измученные этой тяжёлой работой матросы и небольшой командный состав, состоявший из командира «Жаннетты» капитана Де-Лонга, майора инженера Мельвилля и лейтенантов Чиппа и Данненговера, разбили свои палатки на ледяном поле и под их кровом забылись тяжёлым сном. Через несколько часов их разбудил какой-то необычайный грохот, похожий на адскую пушечную канонаду. Выскочивши из своих палаток, они с ужасом увидели, как их любимая «Жаннетта», с которой они успели сжиться за два года точно с дорогим детищем, затёртая гигантскими ледяными горами, поднята, так сказать, ими на дыбы на большую высоту. Через некоторое время освобождённая расступившимися великанами от их смертельных и цепких ледяных объятий, со страшным треском, лязгом и стоном, почти в вертикальном положении, с развевающимся на мачте звёздным флагом Соединённых Штатов, стала медленно погружаться в пучину океана, под гигантские глыбы необозримого, бесконечного ледяного поля, пока не исчезла навеки из виду осиротевшего экипажа, следившего с замиранием сердца, с трепетом горя и ужаса, с невольно навёртывающимися на глазах слезами за трагической гибелью своей любимой «Жаннетты»... Свершилось!.. Экипаж остался на необозримо безграничном, безнадёжном ледяном поле, простиравшемся на сотни вёрст вокруг; и это ледяное поле ни секунды не стояло на месте, а медленно уносилось широким течением океана с Востока на Запад, раскалываясь время от времени, образуя трещины, озера и проливы, вскоре вновь замыкавшиеся.

Поэтому экипаж имел с собой и сани и лодки, пересаживаясь попеременно, по мере надобности из одних в другие. Положение экипажа было отчаянно-опасное, почти безнадёжное и, во всяком случае, небывалое даже в летописях многочисленных

предшествующих полярных экспедиций... Было решено направиться к устьям реки Лены, так как, по имевшимся у них в географических сочинениях и картах сведениям, по реке Лене шли пароходы, а берега её были густо населены<sup>1</sup>.

17 июня тронулись в путь по ледяному полю замёрзшего океана; впереди шли пешком, налегке, капитан Де-Лонг и лейтенант Денбар, выбиравшие направление дороги и отмечавшие её расставляемыми черными флагами; это ледяное поле далеко не было чем-то ровным или гладким, — напротив того, оно представляло собою скорее нагромождение ледяных глыб и ледяных скал, пересекаемых расселинами и проливами; приходилось карабкаться, спускаться, прыгать, прокладывать дороги, делать мостики, сооружать плоты... Затем на одной из лодок были сложены палатки, кухонные принадлежности и меховые «спальные мешки» (очень удобные для сна, в которые человек влезал и был плотно укрыт от холода).

Человек 20 тащили на лямках эту лодку по глубокому рыхлому снегу, достигавшему порою до пояса, подбадривая себя криками и песнями. Что касается провизии, то, по распоряжению капитана Де-Лонга, она ещё накануне была доставлена Мельвиллем в намеченный заранее впереди пункт, на санях, запряжённых собаками. Наконец, в хвосте следовали больные товарищи, под наблюдением доктора Эмблера на других санях, также запряжённых собаками, вместе с медикаментами, палатками и т.п.; чтобы избежать дневной жары, поход совершали ночью, а днём спали. Временами ледяное поле с треском взламывалось, образуя проливы, через которые приходилось с величайшими усилиями переплывать или перебрасывать нагруженные лодки и сани, часто по горло в ледяной воде; работая таким образом по 12, а то и по 14 часов в сутки, продвигались на три или четыре версты. Трудно представить себе более тяжёлый и мучительный поход. На ночлег приходили, выбившись из

---

<sup>1</sup> Всё это оказалось роковым миражем, так как пароходы шли только до Якутска, не доходя до устьев Лены около трёх тысяч вёрст, а берега её в этих местах, очень мало населённые в течение краткого лета бродячими тунгусами, в зимнее время представляли мёртвую пустыню.

сил, промокшие насквозь, с изорванными об острые льдины подошвами. После двух недель такого путешествия по этому необъятному плавучему ледяному полю, Де-Лонг, путём астрономического измерения положения солнца, с ужасом открыл, что они не только не подвинулись ни на волос вперёд на юг, но были отнесены на 26 вёрст к северу от сибирских берегов! Положение становилось тем более критическим, что провизии у них было всего на 60 дней. Вся надежда их была в том, чтобы скорее добраться до открытого океана и тогда плыть в лодках по желательному направлению, работая парусами и вёслами. Неделью спустя, Де-Лонг, сделав вновь астрономическое измерение, убедился, что они, благодаря капризу океанского течения, наконец, подвинулись вперёд по направлению к югу вёрст на 40... Вскоре, 12 июля, показались на горизонте очертания какого-то острова, с величественными горными вершинами, окутанными туманом; к нему устремились усталые путники, как к некоей обетованной земле; ледяное поле становилось менее скованным, проливы стали чаще, появилась дичь и даже удалось застрелить громадного белого медведя, доставившего им на некоторое время прекрасную пищу... Дня через два прекратился ливший пред этим дождь, промочивший насквозь их одежду, палатки, постели; туман внезапно, как бы по волшебству, рассеялся, сгинул, и пред их очарованными взорами открылся дивный вид: почти отвесные тёмные гранитные скалы вышиною около 3 тысяч футов, с красивыми пятнами векового мха.

Крики восторга вырвались из груди всех: ведь целых два года они не ступали на твёрдую землю! Когда они собрались на этом острове, они представляли грустное зрелище: исхудалые, оборванные, почти в лохмотьях, голодные; их палатки, которые они разбили у подножия этих величественных гор, походили на какие-то жалкие муравейники, а сами они на группу бродячих муравьёв, разместившихся в кучах тряпья и мешков... Поутру, они в торжественной процессии, с развевающимся национальным знаменем, направились в середину острова, где Де-Лонг объявил его присоединённым к Соединённым Штатам и назвал

островом Беннета, в честь организатора их полярной экспедиции.

Они пробыли на этом острове до 6 августа, делая необходимые приготовления к плаванию в открытом море, которое должно было скоро заменить ледяные поля; лодки были починены и приведены в надлежащий вид; чтобы уменьшить багаж, побросали пришедшую в полную негодность часть одежды и излишних вещей; затем отобрав семь лучших ездовых собак, остальных пристрелили и бросили в море.

Экипаж был распределён по трём лодкам таким образом: в первом номере под командой капитана Де-Лонга; во втором — под командой лейтенанта Чиппа и, наконец, китоловная лодка под командой Мельвилля. Уже у берега острова образовалось открытое пространство воды шириною около двух вёрст до ледяного поля, чрез которое они и поплыли в лодках, тяжело нагруженных провизией, санями, палатками, собаками и разным багажом. Приставая к ледяному полю, они причаливали лодки к его краю, разгружали, накладывали на сани и перетаскивались таким образом через ледяное поле до следующей полосы открытой воды. В начале августа наступила полная зима, всё покрылось холодным белым саваном; плохо одетые, в лохмотьях, они жестоко страдали от холода в открытых лодках, которые вдобавок протекали, так что приходилось постоянно выкачивать воду мёрзлыми руками; по временам бушевала снежная пурга... Ледяные поля, чрез которые приходилось тащить, с помощью людей и собак, нагруженные шесть саней, становились постепенно менее компактными, были усеяны многочисленными более или менее глубокими протоками, озёрками и расселинами, в которые путешественники проваливались по самую шею...

Недели через три стали приближаться к группе Ново-Сибирских островов; здесь ледяное поле с необычайной стремительностью пронесло их сквозь пролив, отделяющий остров Новой Сибири от острова Фаддеевского, а дальше пред их восхищёнными глазами расстилалось открытое синее волнующееся море; с большим трудом им удалось высадиться на высокой

мшистой тундре Фаддеевского острова, на котором они надеялись пополнить истощившиеся запасы своей провизии охотой за дичью, так как положение их становилось в этом отношении чрезвычайно критическим; но они не нашли здесь ничего, кроме нескольких запоздавших диких уток, задержавшихся в ожидании, пока вырастут их птенцы и робко плескавшихся в открытом море, да ещё попались следы диких оленей, укрывшихся куда-то в глубину острова. Ни одного человеческого существа, хотя когда-то здесь жили люди, о чём свидетельствовали несколько разрушенных хижин, принадлежавших искателям мамонтовой кости. Весь остров с его холмами и долинами был покрыт снегом и льдом, реки высохли и замёрзли... На дальнейшем пути к южному берегу острова Котельного их застигла страшнейшая буря с метелью, бушевавшая весь день и всю ночь; огромные волны и бушующий ветер гнали их лодки к огромной мели, на которой яростно бушевал бурун, угрожая разнести их в щепки. Маневрируя всю ночь с нечеловеческими усилиями среди яростных волн разбушевавшегося океана, угрожавших то потопить их лодки, то разбить об отмель, не имея возможности куда-либо пристать, они старались направить паруса таким образом, чтобы плыть наперерез огромным волнам, поминутно заливавшим их лодки.

Наконец им удалось как-то укрыться в маленькой бухте попавшегося им навстречу плывущего ледяного поля, в которой они провели ночь. Только на вторые сутки, когда буря утихла, им удалось пристать к восточному берегу острова Котельного. Но никакой дичи и вообще никакого живого существа им не удалось здесь найти, и они на другой день поплыли в лодках дальше вдоль берегов этого острова и к вечеру достигли отвесных скал юго-западного берега, откуда решено было направиться напрямик чрез открытый океан к устьям Лены, мимо острова Столбового. Набравши с собой побольше снега для пресной воды, 7 сентября распустили паруса и при свежем ветре двинулись в путь.

Вскоре им навстречу показалась громадная плывущая льдина, о которую огромные волны вышиной до 7 сажен разбились с такой страшною силою, что приблизиться к ней значило бы идти на верную гибель.

С величайшим трудом, гребя изо всех сил против ураганного ветра и громадных волн, заливавших их жалкие лодки и окачивавших их ледяным душем, промокшие насквозь и окоченевшие, с отмороженными и кровоточащими руками, кое-как, висая ежеминутно на волосок от гибели, ушли они от этого ужасного и опасного буруна.

Только к утру затихла ужасная буря, и они были спасены: вдали показались очертания острова Столбового; подвигаясь довольно быстро вперёд при помощи весел и парусов, они на ночь бросали якорь у попадавшихся навстречу плавучих ледяных полей; на третий день они достигли скалистого острова Симоновского, на который и высадились для охоты; им действительно удалось застрелить прекрасного оленя, который доставил им роскошный, вкусный обед; разведя костёр из наплавного леса, они заночевали на острове. На другой день охотничья команда сбегала весь остров, но больше никакой дичи не нашла. Отдохнувши на острове два дня, чтобы сколько-нибудь, хотя и не вполне, оправиться от всех перенесённых страданий и запастись новыми силами для дальнейшего трудного и опасного путешествия, они на третий день, в понедельник 12 сентября, поплыли дальше на юг по направлению к островам Васильевским. Дул сильный холодный ветер, пополам с дождём и снегом, а море было покрыто высокими, пенящимися волнами.

Пройдя в полдень чрез пролив между двумя островками этой группы, они поплыли дальше и пристали для обеда к краю ледяного поля; отсюда до вождённого Сибирского берега, мыса Баркова, оставалось всего около 130 вёрст. Бодрые и весёлые, ввиду сильного попутного ветра, они поплыли дальше, надеясь на другой день достигнуть мыса Баркова; прежде чем двинуться в путь, Де-Лонг, на случай, если буря разъединит лодки, дал Мельвиллю и Чиппу следующий приказ: «Лодкам не отставать друг от друга, держитесь на таком расстоянии, чтобы



можно было перекликаться, плывите к мысу Баркову. Когда пристанете к нему, не ждите меня, но постарайтесь найти проводника из числа туземцев и как можно быстрее идите вверх по реке до населённого пункта и будьте уверены, что вы и ваша команда будет в безопасности, и не беспокойтесь о нас. Если вы достигнете мыса Баркова, вы будете спасены, потому что там находятся зиму и лето много туземцев»; затем, обращаясь отдельно к Мельвиллю, он ему сказал: «Мельвилль, вам не трудно будет держаться поблизости от меня, но если что-нибудь нас разлучит, вы легко найдёте место для высадки, держась Сибирского берега; и вы не хуже других осведомлены о туземцах и их поселениях...» Это было их последнее собеседование. Де-Лонг плыл впереди, держа курс на юго-запад; они плыли быстро, но волнение на море усиливалось, и лодки бросало из стороны в сторону; так как лодка Мельзилля была быстроходнее остальных, то ему становилось всё труднее держаться позади Де-Лонга; Чипп не отставал, но по мере того, как усиливались буря и волнение на море, его катер, будучи меньше и хуже всех, стал всё более и более отставать и по временам едва виднелся вдали. Первый катер представлял превосходную морскую лодку, но, имея 12 человек и будучи тяжело нагружен не только провизией для своей команды, но большими дубовыми санями, научными записями экспедиции, книгами, инструментами и т.п., — сидел в воде очень глубоко и непрерывно заливался волнами, которые окатывали команду ледяной водой и временами угрожали потопить катер.

Между тем буря разразилась с такою ужасающею силою и яростью, что держаться лодкам вместе не было никакой возможности, — это значило бы идти всем на верную гибель; скоро буря и гигантские волны увлекли лодку Мельвилля далеко вперёд, так что лодки Де-Лонга и Чиппа остались далеко позади и исчезли из виду среди бушующего, ревущего и стонущего океана, яростных завываний ураганного ветра и гигантских ледяных волн, захлестывавших все лодки... Видно было, как катер Чиппа боролся среди бурных волн, изредка показываясь на их

гребне, пока совсем не исчез, и сколько ни всматривался Мельвиль, он видел на том месте только пену и кипящие белые гребни мрачного, холодного океана...

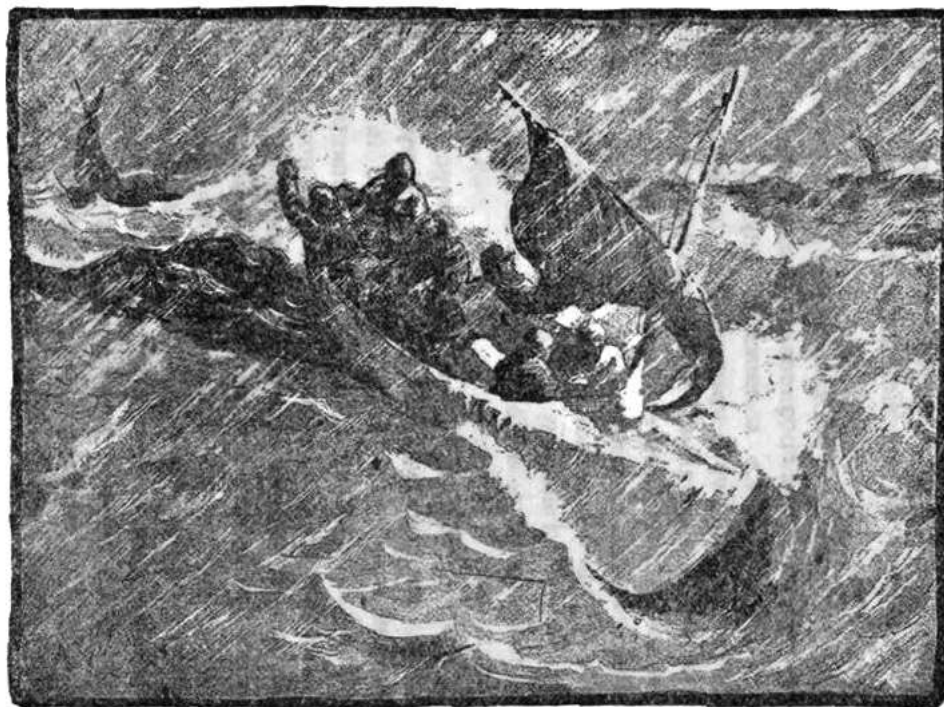


Рис. 3. Буря разъединила три лодки.

Очевидно, катер Чиппа пошёл ко дну со всем экипажем...

Между тем буря становилась всё сильнее и яростнее, а море грознее; положение лодки Мельвилля становилось с каждой минутой всё более критическим. Буря продолжала свирепствовать с неослабевающей яростью всю ночь и весь следующий день; лишь к вечеру небо стало проясняться и буря затихать, так что они могли беспрепятственно продолжать свой путь по направлению к мысу Баркову; на другой день была ясная и тёплая погода, а море было спокойно, как зеркало...

Наконец 16 сентября они достигли устьев реки Лены, совершенно обессиленные, измученные, голодные и настолько обмороженные и окоченевшие, что ноги и руки потеряли всякую чувствительность, страшно распухли и покрылись сплошными нарывами и кровоточащими язвами. Напившись горячего чая, которого они были лишены с 12 сентября, и слегка подкрепив свои силы скудными остатками своих истощившихся запасов

провизии, они стали обсуждать, как быть дальше: идти ли на поиски Де-Лонга и Чиппа с их экипажами, или, прежде всего, позаботиться о своём собственном спасении?

Первое было невозможно по той простой причине, что команда Мельвилля едва двигалась вследствие полнейшего истощения, рискуя притом погибнуть от голода и холода; поэтому решено было подвигаться в лодке вверх по течению Лены в поисках за каким-нибудь человеческим жильём или хотя бы человеческим существом. Наконец, они увидели на берегу пустую полуразрушенную летнюю охотничью юрту, покинутую жителями ввиду наступившей зимы; сварив на очаге чай и сварив суп из диких уток, застреленных ещё на Семёновском острове, они тщетно старались уснуть, так как обмороженные руки и ноги причиняли нестерпимые мучения.

На другой день они продолжали плыть в своей лодке вверх по течению. Прошло ещё дня три мучительного плавания по мелям и извилистым рукавам притоков реки Лены, когда вдруг, к неописуемой радости, Мельвилль и его спутники увидели плывущих навстречу трёх туземцев на трёх душегубках! Таким образом они были спасены после нечеловеческих страданий и мучений, чудом уцелев во время страшной бури, разлучившей их с лодками Де-Лонга и Чиппа...

Американцы старались объяснить им, показывая пальцами в открытые рты, что они голодны, и когда туземцы, наконец, поняли, то достали из своих душегубок немного тухлой рыбы, гуся и дикую утку; кое-как добившись от них, что они из Булуна, Мельвилль стал знаками убеждать их отвезти его туда; но они решительно отказались, указывая мимикой, что они все погибли в пути от холода и голода и не доедут.

Через полчаса они все высадились на берег, где увидели покинутый тунгузский посёлок, состоявший из нескольких полуразрушенных, грязных юрт, откуда шла невыносимая вонь от остатков гнилой рыбы; в одной из них они и заночевали, убаюкиваемые завыванием отчаянной снежной бури. Все заботы Мельвилля теперь сосредоточились на поисках Де-Лонга и

Чиппа с их командами, для чего, прежде всего, надо было достичь Булуна, чтобы войти в сношение с русскими властями. Ввиду того, что туземцы категорически отказывались от риска какого бы то ни было путешествия по этим пустынным местам в это время года, Мельвилль в этот же день поплыл в своей лодке с товарищами по направлению к Булуну, находящейся выше по реке Лене. Но, пространствовав несколько часов, путаясь по бесчисленным рукавам и мелям дельты Лены, в отчаянную пургу, заливаемые ледяными волнами и брызгами взволнованной гигантской реки, полузамёрзшие и окончательно выбившиеся из сил, они вынуждены были вернуться обратно и были счастливы, когда опять увидели вчерашнюю тёплую юрту с тремя друзьями-туземцами, радостно выбежавшими навстречу. Но обмороженные ноги уже отказывались служить им, так что они вскарабкались на берег уже буквально на четвереньках. На другой день неустойчивому Мельвиллю всё-таки удалось убедить туземцев тронуться в путь и попытаться достичь Булуна. После трёхдневного мучительного плавания по пустынным и безлюдным водам Лены, в бурю и метель, они добрались, наконец, до какого-то населённого пункта, откуда их уже провожали дальше другие туземцы. На другой день они добрались до небольшого посёлка Джамевилох<sup>1</sup>, домов в 12, с маленькою церковкою; трудно передать их восторг и те крики «ура!», которые раздались из их груди; среди обитателей оказался и один русский из уголовных ссыльных. Это было 28 сентября.

Они заночевали в юрте старосты Николая Чагра<sup>2</sup>. На другой же день неутомимый Мельвилль стал убеждать Чагру в необходимости для них добраться немедленно до Булуна; так как поднялась страшная пурга, то Чагра энергично протестовал, указывая на безумие и смертельную опасность путешествия в такую погоду, тем более, что до Булуна было 280 вёрст и не менее 15 суток езды. Но через несколько часов пурга утихла, и они

---

<sup>1</sup> На самом деле название деревни – Зимовьялах. У Мельвилля многие названия населённых пунктов и имена написаны так, как он их расслышал – весьма далеко от их истинного звучания. Далее в сносках будут даваться правильные названия. – прим. OCR.

<sup>2</sup> Чагра = Дьяконов. – прим. OCR.

отправились дальше, — американцы в своей китоловной лодке, впереди которой выбирали фарватер трое туземцев в трёх душегубках, очень мелко сидевших, тогда как лодка американцев сидела на глубине 2 футов. Но не прошло и нескольких часов, как по реке начался ледоход и поднялась страшная буря; туземцы решительно отказались плыть дальше, и Мельвилль на сей раз должен был согласиться, что они правы. Через час они вернулись обратно в деревню Джамевилох, где им отвели отдельную юрту, довольно исправную, из числа пустовавших. Скрепя сердце надо было покориться неизбежности и сидеть сложа руки недели две, пока река станет Американцы отдохнули, починили свои лохмотья; обмороженные руки и ноги стали залечиваться.

Прошло несколько дней; американцы томительно ждали, пока река замёрзнет. Как-то перед вечером вошёл староста в сопровождении какого-то русского, оказавшегося уголовным ссыльным из солдат, по фамилии Кузьма Жирмаев<sup>1</sup>; это был бодрый, умный парень, средних лет, занимавшийся мелкой торговлей, или, вернее сказать, товарообменом с кочующими тунгузами, а также якутами и русскими. Мельвилль рассказал ему, кто они и как попали сюда, и обещал ему подарить их китоловную лодку и в придачу 500 рублей, если он немедленно поедет в Булун с письмами к командиру и привезёт оттуда пищу, одежду и оленью упряжку; Кузьма ответил, что в настоящее время это чрезвычайно опасно, так как река ещё не стала, что сейчас он поедет к себе домой и пришлёт им немного провизии с кем-нибудь, а дня через четыре вернётся сам и тогда видно будет; ввиду этого, с ним поехал Данненговер, который действительно привёз на другой день немного махорки, сахара, 5 фунтов соли, немного ржаной муки и убитого молодого оленя, весом около двух пудов; самым драгоценным из всего была соль, которой они не видели уже с самого крушения «Жаннетты» и которую чрезвычайно трудно было достать в тех краях, и цени-

---

<sup>1</sup> Жирмаев = Еремеев. — прим. OCR.

лась она по рублю фунт. Через четыре дня Кузьма, действительно, приехал в нарте, запряжённой семью собаками, и 14 октября отправился в Булун, обещая вернуться оттуда через 5 дней. Но прошло много томительных дней в ожидании, и лишь 29 октября вернулся Кузьма, рассказав, между прочим, что по дороге ему повстречались двое саней, запряжённых оленями, которыми управляли двое якутов, вёзших двух американцев, полумёртвых от холода и истощения и рассказывавших о гибели многих своих товарищей. Кузьма вручил Мельвиллю два письма, из которых одно от Булунского казачьего командира, а другое от тамошнего дьякона, и, кроме того, грязную, скомканную записочку, которая оказалась драгоценное всего и которая чрезвычайно поразила Мельвилля и его спутников; содержание этой записки следующее:

*Полярный пароход Жаннетта погиб 11 июля; высадились в Сибири около 25 сентября; необходимо послать помощь капитану и доктору и девяти остальным.*

*Виллиам Ф. С. Ниндеман,*

*Луи Р. Нороз.*

*Матросы флота Соединенных Штатов.*

*Поспешите ответом, нуждаемся в пище и одежде.*

Расспросив подробнее Кузьму, Мельвилль узнал, что Ниндеман и Нороз направились в Булун, что они были совершенно больны и страшно страдали от голода и холода и что из их слов Кузьма понял, что многие из их товарищей погибли. Но из их записки видно было, что из двенадцати человек экипажа не доставало только одного. Кроме письма от казачьего командира, последний просил Кузьму передать на словах, что он сам приедет к ним послезавтра с провизией, одеждой и достаточным количеством оленей, чтобы отвезти всех в Булун. Тем не менее, Мельвилль приказал Кузьме везти его немедленно в Булун, но Кузьма решительно отказался, ссылаясь на чрезвычайную усталость собак; тогда, по настоянию Мельвилля, послали за свежими собаками в соседний посёлок вёрст за 10, которые прибыли на другой день, 30 октября. Перед своим отъездом Мельвилль дал инструкции Данненговеру, чтобы он немедленно по

прибытии казачьего командира отправился в Булун и ждал там прибытия Мельвилля. Сам Мельвилль имел в виду перехватить по дороге казачьего командира и взять его с собою для поисков пропавших товарищей, а если это не удастся, то поспешить в Булун, чтобы узнать от Ниндемана все подробности о Де-Лонге с товарищами и об их местонахождении, так что приезд командира в Джамевилах будет означать, что Мельвилль с ним разминулся.



*Рис. 4. Отправляются на поиски Де-Лонга.*

Итак, Мельвилль тронулся в путь в нартах, запряжённых 11 собаками, для поисков Де-Лонга и его товарищей 30 октября 1881 года, — в тот самый день, который в 150 верстах севернее решил их трагическую участь: спустя пять месяцев, когда Мельвилль нашёл их трупы и записную книжку Де-Лонга, названную впоследствии «ледяным дневником», он прочёл в ней следующую последнюю скорбную запись, сделанную рукою умирающего Де-Лонга, очевидно, утром: «Октября 30-го, воскресенье. Сто сорок первый день. Бойд и Герц умерли ночью. Коллинз умирает», — вечером того же дня испустил дух и сам Де-Лонг.

На пятый день Мельвилль прибыл в Булун, совершив этот путь половину на собаках, половину на оленях; его подвезли прямо к большой юрте старосты, где находились Ниндеман и Нороз; Мельвилль открыл дверь и остановился молча на пороге,

желая увидеть, узнает ли его Нороз, стоявший невдалеке у простого стола, держа в руке ковригу чёрного хлеба, которую он разрезал охотничьим ножом; Ниндемана не видно было; Нороз посмотрел, но не узнал его и продолжал спокойно отрезать хлеб; тогда Мельвилль, воскликнув: «Здорово, Нороз! Как поживаете?», приблизился к нему и протянул руку. «Боже мой, — мистер Мельвилль! Вы живы?». При этих восклицаниях с нар поднялся Ниндеман и воскликнул: «Мы считали вас всех погибшими и думали, что только мы двое спаслись; мы были уверены, что все с вашей лодки погибли, а также с катера Чиппа».



Рис. 5. 1. Ниндемаи и Нороз отправляются вперёд искать помощи. 2. Встреча Мельвилля с Ниндеманом и Норозом. 3. Оленья запряжка.

Оправившись от сильного волнения, Мельвилль рассказал им подробно о всех злоключениях китоловной лодки, и когда он упомянул, что спешил поскорее узнать, где находятся Де-Лонг и его товарищи, то голос его прервался, и на суровых лицах этих неустрашимых людей навернулись непрошенные, горячие слезы. Ниндеман и Нороз заявили, что бесполезно их разыскивать, так как, очевидно, они давно умерли, ибо ещё в то время, когда они расставались с ними двадцать пять дней тому назад, и даже за не-

сколько дней до того, у них абсолютно нечего было есть, и они питались своей кожаной одеждой, а также имевшимися в походной аптечке алкоголем, деревянным маслом и глицерином, выдаваемыми каждому в ничтожных дозах; при расставании Де-Лонг раздал весь алкоголь поровну всем и приказал Ниндеману и Норозу идти вперед форсированным маршем вдоль западного



берега Лены до ближайшего поселения, которое он предполагал в расстоянии около 40 вёрст. Ниндеман и Нороз от перенесённых страданий были совершенно больны и не в состоянии двинуться куда-либо.

Распорядившись поместить их в более тёплой и уютной юрте и снабдить лучшей пищей, Мельвилль остановился у местного священника и стал дожидаться возвращения командира Бишофа<sup>1</sup>, который один имел власть снабдить его всем необходимым для поисков Де-Лонга и его товарищей; но Бишоф в тот же день прислал ему с нарочным письмо, прося приехать в Бурулах, отстоящий в 80 верстах к северу от Булуна, где его будут ждать две упряжки собак с проводниками для следования на север в поисках Де-Лонга. Мельвилль немедленно выехал и через 12 часов прибыл в Бурулах, с распухшими ногами, покрытыми пузырями и язвами. На другой день прибыл Бишоф и с ним остальные товарищи Мельвилля, из которых один Джек Коль, не вынеся всех злоключений, сошёл с ума и требовал постороннего ухода за собою. Бишоф снабдил Мельвилля двумя запряжками по одиннадцати собак в каждой<sup>2</sup> и запасом провизии на 10 дней для людей и собак. В тот же день Мельвилль, распростившись со своими товарищами, которые должны были на другой день выехать через Булун в Верхоянск, а оттуда в Якутск, выехал на север, «надеясь на самое лучшее, но опасаясь самого худшего», так как почти не надеялся найти их живыми, но желая, по крайней мере, спасти их трупы от съедения хищными зверями и привезти на родину в Америку. Мельвилль направился по следам Ниндемана и Нороза, в сильнейший мороз и метель, с опухшими ногами. На другой день он прибыл в Булкур, — тот ненаселённый, покинутый пункт, состоящий из двух юрт, где Ниндеман и Нороз заночевали и где случайно встретили владельца одной из этих юрт якута Ивана Андросова, явившегося за своими рыболовными сетями и таким образом спасшего жизнь их обоим... Мельвилль добрался ползком, на четвереньках до юрты, где и

---

<sup>1</sup> Бишоф = Баишев. — прим. OCR.

<sup>2</sup> Собаки запрягаются в сани цугом попарно, а впереди одна, самая смышлёная и быстрая, являющаяся, так сказать, вожатой.

заночевал, чтобы дать отдых себе, людям и собакам. Поднялась страшная пурга, бороться с которой не могли бы ни люди, ни даже собаки; приходилось покориться своей участи и ждать пока она утихнет. Через день пурга ослабела, и они рано утром двинулись дальше; через несколько часов им удалось найти тот пункт, названный «складом саней», через который проходили Ниндеман и Нороз, но следов Де-Лонга и его товарищей не нашли; поехали дальше и заночевали в открытом месте в снегу; на рассвете, подкрепившись сырой мёрзлой рыбой<sup>1</sup>, двинулись дальше на север вдоль западного берега реки, тщательно исследуя всю местность по дороге и по сторонам, не теряя из виду следов спасшихся из когтей смерти Ниндемана и Нороза. Вновь заночевавши в снегу отправились дальше и всюду находили следы Ниндемана и Нороза и ничего больше; желая поскорее достичь ненаселенного поселка Матвей, первого, куда пришли Ниндеман и Нороз после того, как расстались с Де-Лонгом и отстоящего в 25 верстах, Мельвилль, не останавливаясь, ехал всю ночь и, доехавши к утру, вновь вошел в юрту на четвереньках, совершенно обессиленный и отощавший.

На утро якуты (проводники) принесли ему найденный в юрте кожаный пояс с большой медной бляхой, сделанный на пароходе «Жаннетта». Обрадовавшись этой находке, Мельвилль решил ехать дальше, несмотря на энергичные протесты и мольбы якутов, доказывавших, что дальнейшее путешествие, ввиду уменьшившегося запаса провизии и страшных морозов, угрожает им всем смертью. Якуты категорически отказывались; тогда Мельвилль выхватил из рук ямщика его длинную палку с остроконечником, служащую для управления собаками, и ударил его, после чего оба они обратились в бегство; боясь, что они совсем покинут его на произвол судьбы, он схватил свою винтовку и выстрелил им вслед, чтобы напугать их, — цель была достигнута: когда пуля просвистела над их головами, они в ужасе упали на колени, стали креститься и низко кланяться, касаясь носом холодного снега.

---

<sup>1</sup> Нарезывается тоненькими ломтиками — довольно вкусно, если кушать быстро, пока не оттаяет; называется «строганина».

Мельвилль велел им приблизиться, вновь заряжая винтовку и держа палку в руке; они снова стали доказывать ему смертельную опасность и бесцельность дальнейшего пути, ставя ему на вид, что весною, когда сойдёт снег, легче будет найти тела погибших товарищей. Узнав от них, что до ближайшего населённого пункта остаётся ещё 250 вёрст, Мельвилль приказал им вновь ехать немедленно в Северный Булун; объятые ужасом, они повиновались. Но дальнейших следов Ниндемана и Нороза уже нигде не было видно, — очевидно Мельвилль потерял их, двигаясь не по надлежащему направлению; переночевавши в населённом пункте Каскарта<sup>1</sup>, двинулись дальше с черепашьей медленностью, в сильнейшую снежную метель, так как собаки были совершенно истощены; заночевали в снегу, разведши костёр; ещё до рассвета двинулись дальше, в страшную бурю, дувшую прямо в лицо. Физиономии ямщиков опухли и покрылись пузырями, собаки подвигались почти шагом, так что приходилось делать частые остановки, чтобы дать им передохнуть; далеко за полночь увидели, наконец, весёлый сноп искр, вылетающих из какой-то юрты, занесённой снегом по самую крышу; Мельвилль на четвереньках пополз к юрте, к величайшему удивлению выбежавших навстречу якутов, которые помогли ему подняться на ноги и ввели в свою гостеприимную юрту; после ужина, состоявшего из мёрзлой строганины, варёной рыбы и чаю, какой-то молодой якут протянул Мельвиллю бумагу, найденную в одной из покинутых юрт в устьях Лены верстах в 50 на восток от Северного Булуна; с жадностью развернув её, Мельвилль прочёл следующее:

*Полярная экспедиция парохода «Жаннетты».*

*Юрта в устьях реки Лены, четверг, 22 сентября 1881 г.*

*Всякий, кто найдёт эту бумагу, пусть перешлёт её Морскому Министру, с указанием времени и места, в котором он её нашёл.*

---

<sup>1</sup> Каскарта = Хас-Хата. — прим. OCR.

Затем шло краткое описание плавания и гибели „Жанетты“, нашего дальнейшего похода по ледяным полям, бури разъединившей нас, и высадки первой лодки на Сибирский берег, и заканчивалась бумага следующими строками:

*В понедельник 19 сентября мы сложили на берегу в кучу наш багаж, воткнув на это место высокий шест; здесь находятся морские приборы, хронометр, корабельные журналы за два года, палатка, медикаменты и прочие вещи, которые мы были совершенно не в состоянии нести дальше.*

*Мы продвинулись только на 18 вёрст в течение двух суток, вследствие нашего истощения; поэтому я послал вперёд Ниндемана и Нороза искать помощи для нас. Вчера ночью мы застрелили двух оленей, так что в настоящее время обеспечены пищей, и мы ещё до того столько испытали плохого, что не беспокоимся о будущем. Как только наши больные три товарища смогут ходить, мы возобновим наши поиски каких-либо жителей по берегу Лены.*

*Суббота, 24 сентября. Наши три товарища уже выздоровели, и мы отправляемся дальше, имея запасы провизии на 4 дня и три фунта чаю.*

*Джордж В. Де-Лонг, Командир.*



Рис. 6. Де-Лонг и его товарищи пристают к берегу Сибири.

Едва Мельвилль прочёл это радостное известие, к нему подошла старая якутка и вытащила из-за пазухи другую бумагу, оставленную Де-Лонгом в юрте немного южнее, и гласящую следующее:

*Юрта в устьях Лены, 18 вёрст от конца дельты.*

*Понедельник, 26 сентября 1881 г.*

*14 офицеров и матросов полярного парохода Соединённых Штатов «Жаннетты» достигли вчера вечером этого места и сегодня утром отправляются дальше. Более подробные сведения будут найдены в жестяном ящике, который будет оставлен в одной из юрт верстах в 25 дальше вверх по течению правого берега более широкого рукава.*

Следовали именные подписи всех 14 с Де-Лонгом во главе.

Дня через три Мельвиллю привезли найденные верстах в 90 южнее в одной пустой юрте ещё одну, третью по счету, записку, подписанную Де-Лонгом и его товарищами по несчастью, а также винтовку. В записке сообщалось, что они двигаются дальше, все здоровы, за исключением Эриксона, которому пришлось отрезать отмороженные пальцы ног, имеют провизии на два дня, но спокойны за будущее, так как надеются, что удастся подстрелить дичь.

Обрадованный этими подробными и приятными известиями, Мельвилль решил отправиться немедленно на поиски Де-Лонга и его товарищей и найти их во что бы то ни стало, живыми или мёртвыми. Выехавши на другой день на север в нартах, запряжённых свежими и сильными собаками, Мельвилль через два дня достиг берега океана и нашёл там описанный в записке Де-Лонга высокий шест, и под ним сложенные в куче, занесённой снегом, все вещи, к величайшему удивлению и восторгу якутов, особенно восторгавшихся двумя винтовками.

Затем Мельвилль направился в Булун, чтобы там запастись провизией и организовать дальнейшие поиски Де-Лонга; свирепствовала страшная пурга, угрожавшая мучительной смертью людям и собакам, окутанным снежной мглой, режущей, колющей и леденящей; собаки (их было 29) поминутно останавли-

ливались, будучи не в силах двигаться против ураганного снежного вихря, и никакие побои не помогали; медленно подвигались вперёд, ночуя в заброшенных юртах, заполненных снегом, но всё время идя по следам Де-Лонга и его товарищей, по всем зигзагам их пути, согласно описанию Ниндемана и Нороза. Следы сохранились на льду разных рукавов дельты Лены, так как ветер смел со льда весь снег; но через несколько дней такого мучительного пути, следы эти исчезли, из чего Мельвиллю стало ясно, что где-то он взял неправильное направление. Но он был не из тех людей, которые легко теряют мужество; полузамёрзший, истощённый от голода, ползущий на четвереньках, питаясь на ночлегах исключительно брошенными остатками гнилой вонючей рыбы и оленьих костей, из которых они варили себе вонючий, жалкий, с позволения сказать, «суп», Мельвилль среди непрекращающейся ужаснейшей пурги, леденившей кровь и грозившей людям и собакам ежедневной гибелью, ещё пять дней боролся со стихией, холодом и голодом, стараясь вновь напасть на следы несчастных Де-Лонга и его товарищей.

В особенности Мельвиллю хотелось найти то место у берега одного из бесчисленных рукавов Лены, где они похоронили умершего от истощения матроса датчанина Эриксена по обычаю моряков, — т.-е. бросив завернутое в саван тело его в реку. По описанию Ниндемана, это было возле одной заброшенной юрты, над дверьми которой Де-Лонг, чтобы легче было потом найти это место, прикрепил доску с надписью о событии, а внутри юрты оставил винтовку, так как даже такая тяжесть уже была не под силу ослабевшим путникам, силы которых быстро таяли с каждым днём, с каждым часом... По все усилия Мельвилля были тщетны; в довершение всех бед, благодаря ужасной пище, состоявшей из вонючих отбросов, которыми в обыкновенное время побрезгала бы самая последняя собака, Мельвилль схватил сильнейшую дизентерию. Поэтому Мельвилль решил бросить дальнейшие поиски и вернуться в Булун, а от туда отправиться вместе с помощником исправника Ипатьевым в Верхоянск и затем дальше в Якутск, чтобы там организовать

весною экспедицию для розыска Де-Лонга и его товарищей, решив совершенно правильно, что если им до сих пор не посчастливилось встретиться с кем-либо из туземцев, то они, конечно, уже погибли и нечего торопиться с розыском их трупов ценою своей собственной жизни. Если же это удалось, то они уже спасены и сами доберутся до Верхоянска. После мучительного десятидневного пути в сильнейшую пургу и жестокий мороз, Мельвилль, наконец, 27 ноября вернулся в Булун, почти мёртвый от истощения и перенесённых мучений. А через 2 дня прибыл Ипатьев с большим запасом хлеба, мяса и прочей провизии; но Мельвилль и тут не хотел терять даром времени и, отдохнув всего три дня, далеко ещё не оправившись, поспешил в Верхоянск, отстоящий в 900 верстах; беспощадный к самому себе, повинувшись только чувству самоотверженного долга, он поспешил воспользоваться содействием Ипатьева, помчался с ним на свежих переменных оленях в Верхоянск, в жестокий 50-градусный мороз. Ехали день и ночь, нигде не ночуя, делая лишь короткие остановки для чаепития или обеда, и через 5 суток, вечером 6 декабря прибыли, наконец, в Верхоянск, отмахав 900 вёрст.

Вот что рассказывал нам Мельвилль до 4 часов ночи за обедом, чаепитием и ужином, в уютной гостиной верхоянского исправника Кочаровского; и я чувствовал, как временами голос его дрожал, и видел, как порою на суровом лице этого железного человека навёртывалась непрошенная слеза, но стыдливо мгновенно пряталась... А на дворе стоял 50-градусный мороз, салютуя временами пушечными выстрелами лопающейся земной коры. Мне казалось, что едва ли приходилось кому-либо когда-либо слушать более увлекательный и потрясающий рассказ...

Когда я, взволнованный до глубины души, полный радостных надежд и широких планов, вернулся в 5-м часу утра к себе домой, то товарищи, конечно, ещё и не думали ложиться спать, коротая ночное время оживлёнными предположениями и фантастическими догадками и планами, в нетерпеливом ожидании моего затянувшегося возвращения...

Нам, конечно, было не до сна, и я должен был тут же, незамедлительно, передать им весь потрясающий рассказ Мельвилля...

Нас, конечно, больше всего заинтересовала мысль о возможности побега, если удастся воспользоваться опытом, советами и указаниями Мельвилля и его товарищей, и мы решили воспользоваться во что бы то ни стало таким исключительным, небывалым событием для устройства нашего побега. Я уже не говорю о том, что всем моим товарищам чрезвычайно хотелось лично увидеть и побеседовать с героями «Жанетты». Поэтому я обещал товарищам, что употреблю все старания к тому, чтобы уговорить Мельвилля и его спутников посетить нашу убогую юрту... Уже наступало позднее декабрьское утро, небо начинало светлеть, когда мы, около 11 часов, легли спать... Я спал недолго и часа в 2 дня явился опять к Кочаровскому, к исполнению своих, так сказать, обязанностей в качестве переводчика. После завтрака Мельвилль попросил меня передать Кочаровскому, чтобы он немедленно послал приказ командиру Бишофу в Булун продолжать поиски Де-Лонга до возвращения Мельвилля, причём вручил подробную письменную инструкцию, которую я тут же перевёл на русский язык и передал Кочаровскому, и она немедленно была отправлена в Булун с особым нарочным, а копия её с другим нарочным в тот же день была послана в Якутск губернатору Черняеву.

В этой инструкции указывалось самым детальным образом, с необычайной точностью, до мелочей, где и как искать Де-Лонга и Чиппа с их товарищами; указывалось, что на этом, очерченном им пространстве должна быть обследована каждая юрта, каждый амбар, с целью убедиться, нет ли там какой-либо записки, дневника или кого-либо из пропавших товарищей, живого или мёртвого. Если найдены будут записочки, дневники или книги, то они должны быть пересланы немедленно в Петербург Американскому посланнику; а если найдены будут их тела, то они должны быть свезены в какую-нибудь юрту, по возможности ближе к Булуну, уложены рядом, юрта должна быть тщательно заперта и засыпана снегом или землёй таким образом, чтобы никакие дикие звери не могли туда забраться и повредить трупы. В таком виде юрта должна оставаться впредь до прибытия из Америки надлежаще-уполномоченного лица, которое и



сделает окончательное распоряжение. Что касается поисков второй лодки, в которой находились лейтенант Чипп и его 7 товарищей, то они должны быть произведены на пространстве между западным откосом дельты Лены и до восточного рукава устьев реки Яны.

Покончив, так сказать, с делами и позавтракав вместе с Кочаровским и Мельвиллем, я тут же сказал Мельвиллю, что мои товарищи по ссылке жаждут познакомиться с таким редким гостем и очень просят навестить их; Мельвилль... впрочем, пусть он сам расскажет об этом...

«После этого Лион стал настойчиво просить меня посетить его товарищей по ссылке. Я спросил Кочаровского, не возражает ли он, на что он ответил: «О, нет; он не думает, чтобы нигилист мог испортить республиканца; но обед будет вас ждать в четыре часа». И он предоставил в моё распоряжение свои сани, на которых я и отправился в юрту ссыльных.

Лион был стройный юноша, смуглый, с лицом мертвенно-бледным, еврейского типа, с черными длинными волосами, достигавшими плеч. Он был студентом-юристом и по подозрению в участии в уличных беспорядках и как очень опасный человек, хотя и без каких бы то ни было доказательств, был сослан в Сибирь на неопределённый срок, быть может на всю жизнь. Всё это он мне рассказал с большим юмором по поводу своеобразной логики администрации. В юрте я застал ещё трёх молодых людей, политических ссыльных; Зака, Арцыбушева и Царевского, из которых старшему было 27 лет, а младшему 18 лет.

Все были заядлые нигилисты, хотя некоторые из них стали таковыми уже после ссылки. Каждый из них рассказывал свою печальную и грустную историю, и все глядели на меня с необычайным любопытством. Они прибыли сюда из разных концов империи, изучили все русские тюрьмы на протяжении от Архангельска до Крыма и, наконец, были сосланы на самый крайний север во избежание побега. Они жадно расспрашивали меня о способах плавания вдоль Сибирского побережья, имели в своём распоряжении несколько географических карт и рассказали мне, что они часто мечтали и беседовали о возможности побега

этим путём, но три с лишним тысячи вёрст береговой линии и более 1500 вёрст вниз по реке Яне казалось им немыслимым делом до тех пор, пока не явились мы и предстали пред ними как бы лучезарными вестниками освобождения.

С разрешения Кочаровского, я посещал их ежедневно в предобеденные часы. А по вечерам «избранное общество» Верхоянска давало «балы», на которых пели, забавлялись, играли в карты, ели, пили и курили; женщины сидели отдельно от мужчин и тоже проделывали все эти вещи; на верхоянское общество каждый раз производило ошеломляющее впечатление, когда я им говорил, что я не играю в карты и никогда в жизни не играл, даже на родине.

По этому поводу Лион, сопровождавший меня на всех этих вечеринках, сказал мне: «Они сочли вас за дурного человека, потому что у нас рассуждают так: раз человек не играет в карты и не пьянствует, то он подозрителен, потому что он, значит, всегда размышляет, а человек, который много размышляет — всегда додумается до чего-нибудь вредного, — так лучше его сослать»... Но это говорил бедный изгнанник, жизнь которого была разбита, потому что благодаря чтению и размышлению он изучил и пропагандировал выработанные наукой нравственные и политические истины, но делал это слишком неосторожно и был поэтому провозглашён распространителем превратных идей. Он был в совершенстве знаком с сочинениями новейших философов и политико-экономов, как-то: Джон Стюарт Милль, Герберт Спенсер и прочих, и мечтал достать книги на английском языке, потому что английских книг у них не было. Они умоляли меня дать им хоть какую-либо из имевшихся в экспедиции «Жанетты» английских книг, но я не мог исполнить их просьбы, так как они были нашей святыней, с которой я, конечно, расстаться не мог.. Мой приезд наполнил верхоянских политических ссыльных самыми радостными надеждами, потому что до сих пор считалось столь же невозможным совершить побег по льдам Ледовитого океана, как пройти чрез огненное море; и это тем естественнее, что среди них не было ни одного, который бы хоть раз побывал на море или хотя бы видел

когда-либо широкий океан. Тем не менее, когда я уезжал, они сказали мне, что они хотят сделать попытку к побегу, и я пламенно пожелал в душе, чтобы эта попытка увенчалась успехом, потому что я видел здесь заживо погребёнными в полярной пустыне молодых, образованных и воспитанных людей, вдали от книг, от всякой цивилизации, среди грязных и отталкивающих якутов, бывших отчасти и их тюремщиками. Дело в том, что за побег каждого ссыльного отвечают якуты и подвергаются строгим уголовным наказаниям, так как никакой побег из этих пустынных мест немыслим без их помощи или попустительства. В качестве гостя нации, продолжающего пользоваться её гостеприимством и помощью, я не считал для себя возможным активно помогать ссыльным в осуществлении их планов побега; но, как республиканец, я считаю себя в праве сказать, что все мои симпатии были на их стороне, — на стороне пострадавших за свободу. Лион в качестве моего переводчика получил возможность использовать вполне в интересах своих и своих товарищей сделанное мною Кочаровскому описание плавания и снаряжения «Жанетты», наших запасов провизии и одежды и нашего отступления и похода. Самый младший из ссыльных, которого я прозвал «маленький кузнец»<sup>1</sup>, играл среди них роль как бы инженера и физика; он не отрывал любовных глаз от моего секстанта<sup>2</sup>, с помощью которого он мог бы держать правильный путь через тундры и океан, хотя у них были часы и компас, но не было прибора для измерения широты, ни таблиц для определения долготы; поэтому этот серьёзный юный нигилист начал сам мастерить секстант и изготавливать собственные навигационные таблицы, определяя с помощью обыкновенного календаря положение солнца и т.п. План ссыльных заключался в том, чтобы соорудить лодку на берегу реки Яны, близ Верхоянска, проплыть по ней около 2500 вёрст до берега океана и затем проплыть около 3000 вёрст вдоль берега Сибири до Берингова пролива.

---

<sup>1</sup> Мельвилль говорит здесь о Вацлаве Серошевском.

<sup>2</sup> Специальный физический прибор для измерения углов; употребляется главным образом в морском деле.

Я впоследствии с прискорбием узнал, что они действительно попытались, но неудачно, привести в исполнение свой отважный план... За этот побег Лион был сослан в Средне-Колымск, а остальные в отдалённые якутские улусы. И я мог только преклониться пред ними и пред их отвагой. В глазах всякого американца, привыкшего от самого рождения думать, что свобода составляет абсолютное и неотъемлемое право каждого гражданина, является позорно-жестоким и деспотическим то подавляющее и страшное наказание, которое постигло этих юных изгнанников»...

Передавая дальнейшие подробности своего пребывания в Верхоянске, Мельвилль рассказывает: «Я посетил ещё одного политического ссыльного, — доктора Белого, жившего отдельно от своих товарищей и который исполнял в это время обязанности окружного врача. Это был тот самый д-р Белый, который приготовил ящик с лекарствами, посланный нам в Булун. Его жизнь была трагичнее большинства остальных ссыльных. Он был земским врачом в одном из уездных городов Малороссии, никогда не совершал никакого преступления и никогда не принадлежал к какому-нибудь тайному обществу. История его ареста и ссылки в Верхоянск была передана мне со слезами на глазах Лионом, его другом и товарищем по несчастью. За неделю до ареста Белый лечил дочь местного исправника, которая вполне выздоровела, как вдруг, к его удивлению, к нему пришёл посланный исправником урядник, настоятельно прося его немедленно прийти на квартиру исправника, так как дочь его опять захворала. По пути урядник сказал ему, что им надо предварительно зайти в полицейское управление; несколько удивлённый, он отправился туда, всё ещё ничего не подозревая; но когда Белый вошёл в приёмную, то исправник объявил ему, что он арестован и ссылается в Сибирь<sup>1</sup>. Белый рассмеялся и сказал, что эти шутки неуместны, но исправник ответил, что это не шутка, а факт; поражённый как громом, Белый, задыхаясь, попросил об отсрочке и спросил, за что его арестуют и в чём его

---

<sup>1</sup> Здесь, как и в некоторых других местах книги, в рассказе Мельвилля неточность: до самой Твери Белому упорно не отвечали, куда и на каком основании его везут.

обвиняют? Но получил в ответ: «в административном порядке». Ему даже не дали сходить домой, хотя бы под конвоем, чтобы взять необходимую одежду и проститься с молодой женой, и через несколько часов он был уже посажен в вагон и увезён в ссылку. Он был в отчаянии. Что станет с его молодой женой? Что она подумает о нём? Без сомнения, подумает, что он бросил её. Тысячи ужаснейших мыслей терзали его мозг, он уже был вконец измучен, пока, наконец, он не увидел в окно своего вагона-клетки одного знакомого купца, которому ему удалось в двух словах рассказать о постигшем его несчастье и которого он умолял зайти к его жене и передать ей об его участи; и дальше Мельвилль рассказывает известные уже читателю подробности о том, как жена Белого последовала за ним, сколько мук она перенесла в пути, с каким радостным настроением Белый ожидал, наконец, встречи с ней после многомесячной разлуки, как она, не выдержавши всех страданий, сошла с ума и умерла в Иркутске. Далее Мельвилль продолжает: «В момент моей встречи с доктором Белым в Верхоянске, он только что стал приходить в себя от перенесённых потрясений и вызванного ими покушения на самоубийство, — Белый хотел отравиться... Такова печальная история одного из моих друзей, приобретённых в Верхоянске, рассказанная им самим и переведённая мне по-английски Лионом. Доктор Белый не был нигилистом и вообще не придерживался крайних политических взглядов и поэтому не особенно высоко ценился Лионом и его товарищами. В то же время он поддерживал знакомство с исправником и другими, взаимно посещая друг друга, и они сердечно любили его за его характер; тем не менее ему запрещали частную практику и только разрешили временно исполнять вакантную должность окружного врача». Рассказывая дальше о печальной жизни ссыльных, Мельвилль пишет: «Невежественные якуты страшно боятся ссыльных, потому что их напугали преувеличенными рассказами о жестокостях нигилистов; а полиция вечно начеку, боясь с их стороны каких-либо беспорядков или бунта. Меня очень рассмешил Кочаровский, когда сказал, что он живёт в вечном страхе, как бы кто-либо из ссыльных не убил

его; он показывал мне длинный нож и револьвер, с которыми всегда ложился спать; а в передней ночью всегда спал казак. Лион подтвердил мне всё это и прибавил, что ему и его товарищам доставляет неистощимый источник забавы держать в таком страхе исправника, казаков и купцов; последние со страху продавали им товары много дешевле, чем другим, чтобы заслужить благосклонность ссыльных и избежать их мести». «Но, — говорили Лион и его приятели, — зачем нам убивать этих жалких людей? Какая польза? Конечно, если бы их смерть могла принести нам свободу, мы бы не задумались убить тысячи им подобных; но этого нет». Заканчивает Мельвилль своё описание нашей жизни следующими характерными строками:

«Ещё один эпизод из жизни политических ссыльных в Верхоянске, и я их предоставляю их печальной участи. Я заметил, что стены их жалкой юрты были оклеены газетными иллюстрациями; но, кроме того, на стенах висели друг против друга два изображения, — фотографический портрет и гравюра на дереве из какой-то иллюстрации; взглянув на них, я был поражён их сходством, потому что в гравюре я узнал портрет убитого царя, который изображён лежащим возле окна, одетый в свои регалии, со скрещёнными на груди руками, держащими распятие. Один из ссыльных, заметив моё молчаливое сравнение обоих изображений, подошёл ко мне и сказал: «Оба изображения очень похожи друг на друга, — не правда ли?». И действительно, они были очень похожи: те же заострённые смертью лица, такие же волосы и такие же бороды; я подумал, что оба представляли портрет царя и сказал это Арцыбушеву; но он улыбнулся и сказал: «Нет, фотография изображает моего брата, который погиб от голода и холода в страшных казематах Петропавловской крепости; его тело было сфотографировано на смертном одре близ одной из крепостных амбразур, имеющей сходство с окном дворца, где выставлено тело царя. Мой брат был замучен в крепости; мои товарищи убили царя в его дворце: теперь оба сравнялись: мёртвый нигилист и мёртвый царь!». Он рассмеялся и прибавил, что из-за брата, как «член зловредной семьи», и он был арестован и сослан сюда, что у него есть любимая невеста,

которую только по этой причине тоже сослали в Архангельскую губернию, но, снисходя к её скромной просьбе, ей милостиво разрешили переменить Архангельскую губернию на Верхоянск, так как в этом начальство не усмотрело, конечно, никакого смягчения её участи. Арцыбушев был типичный нигилист, как их изображают в наших карикатурах, с длинными, косматыми черными волосами, напоминающими швабру, брюнет, стройный и с тонкими правильными чертами лица, озарявшегося умными глазами, сиявшими подобно Сириусу. Он радостно сообщил мне, что каждый день ждёт свою возлюбленную, и что если мне не удастся увидеть её в Верхоянске, то без сомнения встречу её в пути. И действительно, я встретил её<sup>1</sup> в дороге на другой же день после моего отъезда в Якутск. Она была молода и привлекательна, среднего роста и прекрасно сложена, со светлыми глазами и волосами, немножко вздёрнутым носиком и очаровательным, коралловым ротиком. Она везла с собой много французских книг, которые она собиралась переводить. Она свободно говорила по-французски и по-немецки, но почти ничего не понимала по-английски; на этот раз я видел её лишь в течение нескольких минут, но вновь встретился с нею впоследствии, когда отправлялся на север и возвращался оттуда после моих вторичных поисков»... Судьба политических ссыльных произвела сильнейшее впечатление на Мельвилля, который проникся самой горячей симпатией к ним; не могу удержаться, чтобы не процитировать любопытное место:

«Политические ссыльные! Какая захватывающая тема, на которой я охотно бы остановился дольше, если бы имел более свободного времени и если бы это позволяли рамки моей книги; потому что я столько видел и слышал о них, что, я уверен, читатели заинтересовались бы. Вообразите себе поэта и литератора<sup>2</sup>, одну из тех редких русских натур, чудные творения которых должны в конце концов просветить и освободить народ, —

---

<sup>1</sup> Её фамилия была Александрова, Евгения Петровна.

<sup>2</sup> Мельвилль имеет здесь в виду, очевидно, трагическую участь гениального праотца революции Н.Г. Чернышевского.

какого-нибудь Тургенева, заживо-погребённого в снежной пустыне. Один из таких очутился здесь, и как ни дико было всё окружающее его — ничто не могло ослабить его духа или ослабить пыл его гения. С его плодovitого пера лился непрерывный поток мыслей и света; он писал и писал без конца, и в творчестве этом находил забвение своих обид и страданий. Власти были чрезвычайно рады его спокойствию, они поощряли его богатое творчество, потому что они невольно преклонялись перед его славой, и они постарались предоставить ему более удобную обстановку, где он мог бы класть для них золотые яйца, которые они тщательно оберегали, чтобы они не достались кому-либо<sup>1</sup>; и даже якутский архиерей не постыдился присвоить себе и выдавать за свой сделанный учёным изгнанником перевод библии».

Менее двух недель пробыл в Верхоянске этот неугомонный, энергичный и нетерпеливый Мельвилль и затем, ещё не отдохнувши как следует от всех ужасов и страданий, перенесённых после крушения «Жанетты», поспешил в Якутск с целью организовать экспедицию для продолжения поисков без вести пропавших Де-Лонга и его товарищей или, вернее сказать, их тел, так как в окончательной их гибели Мельвилль уже более не сомневался. Эти 12 дней пребывания Мельвилля в Верхоянске были для нас событием необычайным, фантастическим: мы

---

<sup>1</sup> Мельвилль здесь жестоко ошибается: никаких удобств Чернышевскому не предоставлялось; наблюдение, за ним было очень строгое. Когда он уже отбыл срок каторги и должен был по закону выйти на «вольное поселение», его держали под замком в специально выстроенной для него тюрьме в г. Вилюйске, Якутской области, но не для того, чтобы поощрять его творчество, а исключительно для того, чтобы ни одна строчка его гениального пера не проникла через тюремные стены, и несчастный писатель, у которого творчество было непреодолимой, стихийной потребностью, без которого он жить не мог, писал, чтобы писать, и... сжигал свои творения, и вновь писал, чтобы вновь сжигать... Трудно представить себе что-либо трагичнее участи Чернышевского, — этого величайшего нашего мыслителя, теоретика революции, «властителя дум» начала 60-х годов, сделавшего для революции не менее, чем Г.В. Плеханов впоследствии; и вот почему едва наше революционное движение 70-х годов приняло сколько-нибудь организованную форму, как была сделана в 1875 году Ипполитом Мышкиным грандиозная, необычайно смелая по замыслу и благородная по идее попытка вырвать этого великого человека из цепких, хищных когтей свирепого и бездушного царизма, из Вилюйского плена, — попытка, увы! окончившаяся неудачей... Мышкин приехал под чужой фамилией в Вилюйск, переодевшись в форму жандармского адъютанта и предъявил исправнику предписание о выдаче ему Чернышевского для отправки в другое место; поведение Мышкина показалось исправнику подозрительным и... дело сорвалось. Положение Чернышевского после этого ещё более ухудшилось. Только в 1883 году было разрешено Чернышевскому переехать в ссылку в г. Астрахань. Умер в 1889 году.



жили какой-то ликующей, лихорадочной жизнью, мы точно воскресли из мёртвых; нам казалось, и это было действительно так, что сама судьба привела героев «Жанетты» в Верхоянск, чтобы вывести нас из этой мёртвой пустыни и вновь вернуть к жизни, свободе и революционной работе.

И мы, не теряя минуты, приступили к осуществлению нашего грандиозного плана морского побега. Мельвилль уехал в Якутск один, оставив пока остальных американцев на короткое время в Верхоянске, чтобы дать им как следует отдохнуть и запастись всем необходимым. Это были простые матросы, но очень развитые и душевные люди, в которых любовь к свободе и ненависть ко всякого рода тирании были, так сказать, в крови, впитаны с молоком матери. Старшему из них по чину, именно лоцману Бартлетту Мельвилль в дружеской беседе наедине обрисовал наше ужасное положение, наши идеи и стремления, за которые мы попали в Верхоянск, объяснил ему, что мы хотим для русского народа хотя бы маленькой дозы той свободы, которою спокойно и законно наслаждается всякий американец, что мы хотим бежать морем в лодке и что он, Бартлетт, и его товарищи, как моряки и как свободные американцы, должны помочь нам в этом плане всесторонними советами и разными практическими указаниями, но осторожно и незаметно, на злоупотребляя, как ни как, гостеприимством русского правительства и не возбуждая подозрений недоверчивого исправника. Бартлетт, с своей стороны, посвятил в эту тайну своих товарищей. И вот все оставшиеся в Верхоянске американцы стали ежедневно то вместе, то частями, то по одиночке посещать нас и просиживать целые дни и долгие, бесконечные полярные вечера, как бы невинно поддерживая наши разговоры об океане, о Беринговом проливе, о существующих океанских течениях вдоль Сибирских берегов, об устройстве их лодки, об её размерах, парусах, вёслах, руле, о том, какие запасы пищи и какой именно были заготовлены для экспедиции «Жанетты» и т.д. и т.п.

Было в высшей степени трогательно и вместе с тем забавно видеть, как эти простые люди, в которых Мельвиллю удалось без труда влить чувства самой горячей симпатии к нам и жажду

нам помочь, как эти простые, сердечные люди, с невинной миной и прозрачной хитростью давали самые подробные, самые житейски-практические ответы и указания на все наши бесчисленные и самые подробные вопросы. Они своими заскорузлыми, мускулистыми руками чертили нам на бумаге общий вид и план постройки наиболее совершенной и практически-осуществимой в наших условиях лодки и делали самые подробные чертежи всех её частей: её размер для 9 человек (именно в количестве 9 человек предполагали мы бежать), устройство и длина киля, высота бортов, количество и устройство весел и парусов, устройство якоря во время плавания по реке и устройство особого приспособления, вместо якоря, во время плавания по океану, чтобы отстаиваться во время бури среди бушующих волн и не наскочить на береговые скалы и т.п.

Все эти чертежи и эскизы потом тщательно изучались, разрабатывались и перерабатывались всеми нами, но в особенности Царевским и Серошевским. После лодки самым существенным вопросом был вопрос о провизии: надо было запасти пищи для 9 человек на три месяца, потому что трагический пример Де-Лонга и его товарищей показал, как легко в этих гиблых местах, уже добравшись до вожденной пристани, погибнуть от голода, не встретив в течение десятков дней ни одного человеческого существа, ни одной живой души. И в этом отношении мы получили от американцев самые драгоценные сведения и указания. В области провизии американцы рассказали нам о замечательном изобретении, о котором я никогда не слыхал раньше и, к великому удивлению, никогда и нигде впоследствии не встречал упоминаний в печати, несмотря на то, что оно могло бы иметь громадное практическое значение, например, в деле снабжения армии в военное время. Я говорю о «пемикене», который представляет собою не что иное, как мясной порошок, до такой степени питательный, что полфунта его достаточно для дневного прокормления человека при самом усиленном физическом труде. Таким образом пемикен при малом объёме имеет большую питательную силу и блестяще разрешает вопрос о

снабжении провизией больших групп людей на продолжительное время. Способ приготовления пемикена следующий: сырое мясо очищается от всех костей и сухожилий и затем помещается в сушилку, т.-е. особенную комнату, температура в которой поддерживается не менее чем в 80 градусов по Реомюру, вследствие чего мясо превращается в порошок; из пуда мясной туши получается такого порошку не более 4 фунтов, если не меньше; порошок этот смешивается в ступе с коровьим салом в пропорции, помнится, один фунт сала на один фунт мясного порошка, и получается чрезвычайно питательное и вкусное вещество. Для полного подкрепления сил, для разнообразия и ввиду того, что примесь растительной пищи необходима для предотвращения заболевания скорбутом или цингой, — этого бича полярных стран, — мы, по совету тех же американцев, решили запастись также ржаными сухарями, из расчёта по фунту в день на человека. Таким образом вес нашего запаса провизии на 9 человек на три месяца должен был составлять не более, чтобы не загружать лодки сверх необходимого, и не менее, чтобы не погибнуть от голода, т.-е. 1215 фунтов, или около 30½ пудов, количество само по себе весьма незначительное, говоря вообще, но очень большое, если принять во внимание, что покупать мясо и сушить его, а также приобретать ржаную муку и сушить сухари, надо было незаметно и в глубочайшей тайне, чтобы не возбуждать подозрений, а также имея в виду скудость наших финансов при цене 6 рублей за пуд ржаной муки (мясо было очень дешёвое, рубля 3 за пуд).

Нельзя было терять ни минуты времени. Через две недели последняя партия американцев, сердечно распростившись и расцеловавшись с нами, покинула Верхоянск, — тот самый Верхоянск, который оказался для них после всех пережитых нечеловеческих страданий и смертельных опасностей настоящей обетованной землёй, спасшей их от голодной смерти, приютившей и согревшей их вновь для прежней жизни среди культуры и цивилизации. Туда, счастливцы, направлялись они теперь после двух лет скитаний по ледяным полям и пустыням, — и мы немедленно приступили к нашим сложным приготовлениям

для задуманного побега. Прежде всего, мы начали скупать незаметно у разных лиц, не в самом Верхоянске, а подальше от него, небольшими частями мясо и ржаную муку через посредство нашего милого друга пана Яна и его друзей и знакомых; на скромность и честность пана Яна мы смело могли рассчитывать и поэтому мы посвятили его в наш замысел; для сушилки мы приспособили амбар, прилегавший к нашей юрте и отделявшийся от неё крытыми сенями, распространив слух, что мы приспособили этот амбар под баню; вскоре эта сушилка превратилась в настоящую фабрику пемикена, где день и ночь, непрерывно, в течение всей зимы разрубались на части мясные туши, мясо отделялось от костей и сухожилий, подвергалось сушке при адски-высокой температуре и превращалось в животворящий пемикен, который мы герметически закупоривали в жестянки, приобретаемые случайно в разных местах у разных знакомых или изготавливаемые Царевским и Сорошевским.

Побег решили совершить раннею весною в полую воду, как только тронется река, так как тогда в ней меньше мелей и течение чрезвычайно быстрое. Американцы уехали в середине декабря, зима была в самом разгаре, стояли лютые 50-градусные морозы; но мы имели в своём распоряжении до весны всего 4½ месяца, и поэтому медлить нельзя было ни одного дня. Место для постройки лодки мы выбрали верстах в 6 от Верхоянска и невядалеке от реки Яны, среди густой чащи тальникового кустарника. Доски для бортов и скамеек мы заказали, через пана Яна, разным окрестным якутам мелкими партиями, чтобы не возбудить подозрений; а для киля нам удалось найти, после тщательных многодневных поисков, обшаривши чуть не всю тайгу и не без помощи того же пана Яна, громадную высохшую лиственницу; там же нашли несколько кривых деревьев и ветвей для изготовления из них остова лодки. Для изготовления железных скреп лодки, гвоздей, якоря и разных металлических частей мы имели в своём распоряжении довольно искусного кузнеца в лице будущего талантливового писателя Сорошевского и отчасти его «металлического» сотрудника Царевского; но по плотницкой части дела наши обстояли хуже, так как плотников

в нашей среде не было; поэтому мы решили посвятить в наш план и соблазнить на побег двух ссыльных скопцов, живших на поселении недалеко от Верхоянска и нередко нас навещавших<sup>1</sup>; они были прекрасные плотники и вообще мастера «на все руки»; они часто приезжали в город для разных закупок и посещали нас, как товарищей по несчастью и как образованных людей; в особенности любили они беседовать на религиозные темы, так как политика их мало интересовала, и они целиком ушли в религию. Люди они были в высшей степени честные, трудолюбивые, но очень узкие в своём сектантском кругозоре. Я никак не мог понять психологии и логики их изуверского учения, основанного исключительно на известном евангельском изречении: «Если тебя соблазнит правый глаз, то вырви его, а если левый — то и его вырви»; а так как, рассуждали они, Христос осуждал плотскую любовь и похоть и рекомендовал воздерживаться от них, то самым радикальным средством достигнуть Христова идеала является оскотление, которое они практиковали как у мужчин, так и у женщин; при чем менее решительные, так сказать, рядовые члены секты применяли частичное оскотление, называвшееся «малою печатью», а полное оскотление, «большую печать», совершали уже более видные, более энергичные последователи секты. Много вечеров провёл я в религиозных дискуссиях с ними, стараясь доказать им всю нелепость их секты; между прочим, я приводил им такой довод, который казался мне неотразимым с точки зрения их собственной логики: «Ведь всякое учение, в том числе и ваше, должно стараться и старается пропагандировать его и приобрести как можно больше сторонников; Христос заповедал своим апостолам распространять его учение по всей земле, и они и их преемники скоро проникли своей пропагандой во все уголки громадной Римской Империи; но вы ведь проповедуете оскотление, и если ваше учение будет иметь успех, то оно приведёт к полному прекращению рода человеческого и, значит, к уничтожению всего вашего учения»; в ответ скопцы беспомощно твердили

---

<sup>1</sup> Это были братья Андрей и Григорий Тарамины, жившие в 6 верстах от Верхоянска. Андрею было лет 25, Григорию — за 50.

одно: «но ведь этого никогда не будет, так как только исключительные люди, очень твёрдые в вере, могут принять большую печать, и поэтому нашего вероучения могут придерживаться только немногие и, значит, нечего бояться прекращения рода человеческого от распространения нашего учения»... В Якутской области, особенно в южной её части, ближе к Якутску, очень много ссыльных скопцов, которые отличаются необычайной честностью, трезвостью и трудолюбием; все они занимаются сельским хозяйством и впервые в Якутской области положили основание земледелию и культуре растительных злаков (ржи, овса и т.п.); до них всё это не производилось в Якутской области и привозилось туда из южной части Сибири, а с тех пор, как в конце 70-х годов стали ссылать сюда скопцов, земледелие здесь расцвело, а с ним расцвели и скопцы, посёлки которых находились в цветущем состоянии, а сами они жили в полном довольстве... Вот этим-то двум скопцам мы решили предложить бежать вместе с нами в Америку и посвятили их подробно в наш план; они охотно согласились. Это нас очень обрадовало и ободрило, во-первых, потому, что мы приобретали сразу двух искусных плотников для постройки нашей лодки и, во-вторых, потому, что согласие таких практических людей, как эти скопцы, жившие очень богато и для которых ссылка не была так чувствительна и ужасна и в материальном и умственном отношениях, как для нас, служило в наших глазах лучшим доказательством и ручательством того, что наш план побега не утопичен и обещает увенчаться полным успехом.

Итак, работа закипела вовсю; день и ночь, в две смены, производилось изготовление пемикена: разрезали мясные туши на части, выбирали исключительно лучшие части, относили в сушильню, где оно превращалось в порошок, смешивали с салом и укладывали в герметически-закупоренные жестянки, которые изготовлял в своей кузнице Сорошевский; он же, вместе с Царевским, изготовляли гвозди, якорь, болты и все железные скрепы для лодки. Изготовлением деревянных частей лодки занялись, главным образом, скопцы. Всё это делалось, конечно, самым конспиративным образом, что было не особенно трудно,

так как полиция была далека от каких-либо серьёзных подозрений. Между прочим, на меня, как заведывавшего «внешними сношениями», была возложена обязанность почаще заходить под разными предлогами к исправнику поболтать о разных разностях, быть с ним особенно любезным и в разговорах внушать ему незаметно идею, что мы в общем довольны верхоянской жизнью, в особенности любезностью и предупредительностью его самого и его подчинённых и ни о чём так не мечтаем, как обзавестись здесь прочным хозяйством, попробовать заняться земледелием и т. п. Самолюбивому Кочаровскому чрезвычайно нравились подобного рода разговоры и льстивые намёки, он весь расплывался в самодовольную улыбку... Скоро, очень скоро, этой улыбке суждено было превратиться в гримасу злобы, ужаса и отчаяния...

*OCR Андрей Дуглас*